



Виктор Пелевин

Empire V

ФТМ



Рама II

Виктор Пелевин

Empire V / Амфир «В»

«ФТМ»

2006

Пелевин В. О.

Empire V / Амфир «В» / В. О. Пелевин — «ФТМ», 2006 — (Рама II)

ISBN 5-699-19085-6

Юноша становится вампиром, сверхчеловеком, одним из представителей расы, выведшей людей для прокорма как скот. В новой жизни ему предстоит изучить самые важные науки для понимания современного общества: гламур и дискурс, познакомиться с реальным положением вещей в мире. Актуальный сюжет узнаваемой любовной линией между Рамой и Герой (Степой и Мюс, Петром и Анкой). И все это погружено в чисто пелевинский коктейль из кастанедовщины, теософии, буддизма и мухоморов. Возможно ли такое, вообще, подделать?

ISBN 5-699-19085-6

© Пелевин В. О., 2006

© ФТМ, 2006

Содержание

Брама	5
Солнечный город	9
Митра	15
Энлиль	21
Бальдр	28
Иегова	38
Картотека	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Виктор Пелевин

Ампир «В»

Паровоз мудро устроен, но он этого не сознает, и какая цель была бы устроить паровоз, если бы на нем не было машиниста?
О. Митрофан Сребрянский

Брама

Когда я пришел в себя, вокруг была большая комната, обставленная старинной мебелью. Обстановка была, пожалуй, даже антикварная – покрытый резными звездами зеркальный шкаф, причудливый секретер, два полотна с обнаженной натурой и маленькая картина с конным Наполеоном в боевом дыму. Одну стену занимала доходящая до потолка картотека из карельской березы, очень изысканного вида. На ее ящичках были таблички с разноцветными надписями и значками, а рядом стояла лестница-стремянка.

Я понял, что не лежу, как полагается пришедшему в сознание человеку, а стою. Я не падал, потому что мои руки и ноги были крепко привязаны к шведской стенке. Я догадался, что это шведская стенка, нащупав пальцами деревянную перекладину. Другие перекладины упирались мне в спину.

Напротив, на маленьком красном диване у стены, сидел человек в красном халате и черной маске. Маска напоминала своей формой не то нахлобученный до плеч цилиндр, не то картонный шлем пса-рыцаря из фильма «Ледовое побоище». В районе носа был острый выступ, на месте глаз – две овальных дыры, а в области рта – прямоугольный вырез, прикрытый черной тряпочкой. Примерно так выглядели средневековые доктора на гравюрах, изображавших чуму в Европе.

Я даже не испугался.

– Добрый день, – сказал человек в маске.

– Здравствуйте, – ответил я, с трудом разлепив губы.

– Как тебя зовут?

– Роман, – сказал я.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– Почему не в армии?

Я не стал отвечать на вопрос, решив, что это шутка.

– Я прошу прощения за некоторую театральность ситуации, – продолжал человек в маске. – Если у тебя болит голова, сейчас все пройдет. Я усыпил тебя специальным газом.

– Каким газом?

– Который применяют против террористов. Ничего страшного, все уже позади. Предупреждаю – не кричать. Кричать смысла нет. Это не поможет. Результат будет один – у меня начнется мигрень, и беседа будет испорчена.

У незнакомца был уверенный низкий голос. Закрывавшая рот тряпочка на его маске колыхалась, когда он говорил.

– Кто вы такой?

– Меня зовут Брама.

– А почему на вас маска?

– По многим причинам, – сказал Брама. – Но это в твою пользу. Если наши отношения не сложатся, я смогу отпустить тебя без опаски, потому что ты не будешь знать, как я выгляжу.

Я испытал большое облегчение, услышав, что меня собираются отпустить. Но эти слова могли быть уловкой.

– Что вы хотите? – спросил я.

– Я хочу, чтобы в одной очень важной части моего тела и одновременно моего духа проснулся к тебе живой интерес. Но это, видишь ли, может произойти только в том случае, если ты человек благородного аристократического рода...

«Маньяк, – подумал я. – Главное – не нервничать... Отвлекать его разговором...»

– Почему обязательно благородного аристократического рода?

– Качество красной жидкости в твоих венах играет большую роль. Шанс невелик.

– А что значит живой интерес? – спросил я. – Имеется в виду, пока я еще жив?

– Смешно, – сказал Брама. – Скорее всего, словами я здесь ничего не добьюсь. Нужна демонстрация.

Встав с дивана, он подошел ко мне, откинул закрывавшую рот черную тряпку и наклонился к моему правому уху. Почувствовав чужое дыхание на своем лице, я сжался – вот-вот должно было случиться что-то омерзительное.

«Сам в гости пришел, – подумал я. – Надо же было, а?»

Но ничего не произошло – подышав мне в ухо, Брама отвернулся и пошел назад на диван.

– Можно было укунить тебя в руку, – сказал он. – Но руки у тебя, к сожалению, связаны и затекли. Поэтому эффект был бы не тот.

– Вы же мне руки и связали.

– Да, – вздохнул Брама. – Я, наверно, должен извиниться за свои действия – догадываюсь, что выглядят они довольно странно и скверно. Но сейчас тебе все станет ясно.

Устроившись на диване, он уставился на меня, словно я был картинкой в телевизоре, и несколько секунд изучал, изредка прищмыкивая языком.

– Не волнуйся, – сказал он, – я не сексуальный маньяк. На этот счет ты можешь быть спокоен.

– А кто же вы?

– Я вампир. А вампиры не бывают извращенцами. Иногда они выдают себя за извращенцев. Но у них совершенно другие интересы и цели.

«Нет, это не извращенец, – подумал я. – Это сумасшедший извращенец. Надо постоянно говорить, чтобы отвлекать его...»

– Вампир? Вы кровь пьете?

– Не то чтобы стаканами, – ответил Брама, – и не то чтобы на этом строилась моя самоидентификация... Но бывает и такое.

– А зачем вы ее пьете?

– Это лучший способ познакомиться с человеком.

– Как это?

Глаза в овальных дырах маски несколько раз моргнули, и рот под черной тряпочкой сказал:

– Когда-то два росших на стене дерева, лимонное и апельсиновое, были не просто деревьями, а воротами в волшебный и таинственный мир. А потом что-то случилось. Ворота исчезли, а вместо них остались просто два прямоугольных куска материи, висящих на стене. Исчезли не только ворота, но и мир, куда они вели. И даже страшная летающая собака, которая сторожила вход в этот мир, стала просто плетеным веером с тропического курорта...

Сказать, что я был поражен – значит ничего не сказать. Я был оглушен. Эти слова, которые показались бы любому нормальному человеку полной абракадаброй, были секретным кодом моего детства. Самым поразительным было то, что сформулировать все подобным образом мог только один человек во всем мире – я сам. Я долго молчал. Потом не выдержал.

– Я не понимаю, – сказал я. – Допустим, я мог рассказать про картины, когда был без сознания. Но ведь про этот волшебный мир за воротами, я рассказать не мог. Потому что я никогда его так не называл. Хотя сейчас вы сказали, и я вижу, что все это чистая правда, да. Так и было...

– А знаешь, почему все так произошло? – спросил Брама.

– Почему?

– Волшебный мир, где ты жил раньше, придумывал прятаящийся в траве кузнечик. А потом пришла лягушка, которая его съела. И тебе сразу негде стало жить, хотя в твоей комнате все осталось по-прежнему.

– Да, – сказал я растерянно. – И это тоже правда... Очень точно сказано.

– Вспомни какую-нибудь вещь, – сказал Брама, – про которую знаешь только ты. Любую. И задай мне вопрос – такой, ответ на который знаешь тоже только ты.

– Хорошо, – сказал я и задумался. – Ну вот, например... У меня дома на стене висел веер – вы про него только что говорили. Каким образом он был прикреплен к стене?

Брама прикрыл глаза в прорезях маски.

– Приклеен. А клей был намазан буквой «Х». Причем это не просто крестик, это именно буква «Х». Имелось в виду направление, куда должна была пойти мама, которая повесила веер над кроватью.

– Как...

Брама поднял ладонь.

– Подожди. А приклеил ты его потому, что веер стал казаться тебе собакой-вампиром, которая кусает тебя по ночам. Это, конечно, полнейшая ерунда. И даже оскорбительно по отношению к настоящим вампирам.

– Как вы это узнали?

Брама встал с дивана и подошел ко мне. Пальцем откинув черную тряпочку, он открыл рот. У него были темные прокуренные зубы – крепкие и крупные. Я не увидел ничего необычного, только клыки, пожалуй, были чуть белее, чем остальные зубы. Брама поднял голову так, чтобы я увидел его небо. Там была какая-то странная волнистая мембрана оранжевого цвета – словно прилипший к десне фрагмент стоматологического моста.

– Что это? – спросил я.

– Там *язык*, – сказал Брама, выделив это слово интонацией.

– Язык? – повторил я.

– Это не человеческий язык. Это душа и суть вампира.

– Им вы все узнаете?

– Да.

– А как можно узнавать языком?

– Объяснять бесполезно. Если ты хочешь понять это, тебе надо стать вампиром самому.

– Я не уверен, что мне этого хочется.

Брама вернулся на свой диван.

– Видишь ли, Рома, – сказал он, – всеми нами управляет судьба. Ты пришел сюда сам. А у меня очень мало времени.

– Вы собираетесь меня учить?

– Не я. Учителем выступает не личность вампира, а его природа. А обучение заключается в том, что вампир кусает ученика. Но это не значит, что любой человек, которого укусит вампир, становится вампиром. Как говорят в плохих фильмах, хе-хе, такое бывает только в плохих фильмах...

Он засмеялся собственной шутке. Я попытался улыбнуться, но это получилось плохо.

– Существует особый укус, – продолжал он, – на который вампир способен только раз в жизни. И только в том случае, если захочет язык. По традиции, это происходит в день летнего солнцестояния. Ты подходишь. Мой язык перейдет в тебя.

– Как это – перейдет?

– В прямом смысле. Физически. Хочу предупредить, что будет больно. И сразу, и потом. Ты будешь плохо себя чувствовать. Как после укуса ядовитой змеи. Но постепенно все пройдет.

– А вы не можете найти себе другого ученика?

Он не обратил на эти слова внимания.

– Ты можешь на время потерять сознание. Твое тело одеревенеет. Возможно, будут галлюцинации. Их, впрочем, может и не быть. Но одна вещь произойдет обязательно.

– Какая?

– Ты вспомнишь всю свою жизнь. Язык будет знакомиться с твоим прошлым – он должен знать о тебе все. Говорят, нечто похожее бывает, когда человек тонет. Но ты еще совсем молод, и тонуть будешь недолго.

– А что в это время будете делать вы?

Брама как-то странно хмыкнул.

– Не волнуйся. У меня есть тщательно продуманный план действий.

С этими словами он шагнул ко мне, схватил меня рукой за волосы и пригнул мою голову к плечу. Я ожидал, что он укусит меня, но вместо этого он укусил сам себя – за палец. Его кисть сразу залило кровью.

– Не шевелись, – сказал он, – тебе же будет лучше.

Вид крови напугал меня, и я подчинился. Он поднес окровавленный палец к моему лбу и что-то написал на нем. А затем безо всякого предупреждения впился зубами мне в шею.

Я закричал, вернее, замычал – он держал мою голову так, что я не мог открыть рта. Боль в шее была невыносимой – словно сумасшедший зубной врач вонзил мне под челюсть свое электрическое сверло. Была секунда, когда я решил, что пришла смерть, и смирился с нею. И вдруг все кончилось – он отпустил меня и отскочил. Я чувствовал на своей щеке и шее кровь; ею была измазана его маска и тряпка, закрывавшая рот.

Я понял, что это не моя кровь, а его собственная – она текла из его рта по шее, по груди, по его красному халату, и густыми каплями падала на пол. С ним что-то случилось – можно было подумать, искушали не меня, а его. Шатаясь, он вернулся на свой красный диван, сел на него, и его ноги быстро заехали взад-вперед по паркету.

Я вспомнил фильм Тарковского «Андрей Рублев», где показывали старинную казнь – монаху заливали в рот расплавленный металл. Все время перед экзекуцией монах страшно ругал своих палачей, но после того как они влили металл ему в глотку, не произнес больше ни слова, и только дергался всем телом. Страшнее всего было именно его молчание. Таким же страшным показалось мне молчание моего собеседника.

Не переставая дрыгать ногами, он сунул руку в карман халата, достал маленький никелированный пистолет и быстро выстрелил себе в голову – в бок цилиндрической маски, скрывавшей его лицо. Его голова качнулась из стороны в сторону, рука с пистолетом упала на диван, и он замер.

Тут я почувствовал в своей шее, под челюстью, какое-то слабое движение. Больно не было – словно мне вкололи анестезию, – но было жутко. Я уже терял сознание, и происходящее ощущалось все слабее. Меня неудержимо клонило в сон.

Брама сказал правду. Мне стало грезиться прошлое – словно в голове обнаружился маленький уютный кинозал, где начался просмотр документального фильма про мое детство. Как странно, думал я, ведь с самого начала я боялся именно вампиров...

Солнечный город

С рождения я жил вдвоем с матерью в Москве, в доме профкома драматургов у метро «Сокол». Дом был высшей советской категории – из бежевого кирпича, многоэтажный и как бы западного типа. В таких селилась номенклатура ЦК и избранные слои советской духовной элиты – вокруг всегда было много черных «Волг» с мигалками, а на лестничных клетках в изобилии встречались окурки от лучших американских сигарет. Мы с матерью занимали небольшую двухкомнатную квартирку вроде тех, что в закатных странах называют «one bedroom».

В этой самой bedroom я и вырос. Моя комната задумывалась архитектором как спальня – она была маленькой и продолговатой, с крохотным окном, из которого открывался вид на автостоянку. Я не мог обустраивать ее по своему вкусу: мать выбирала расцветку обоев, решала, где должна стоять кровать, а где стол, и даже определяла, что будет висеть на стенах. Это приводило к скандалам – однажды я обозвал ее «маленькой советской властью», после чего мы не говорили целую неделю.

Обиднее этих слов для нее невозможно было придумать. Моя мать, «высокая худая женщина с увядшим лицом», как однажды описал ее участковому сосед-драматург, когда-то принадлежала к диссидентским кругам. В память об этом гостям часто прокручивалась магнитофонная пленка, где баритон известного борца с системой читал обличительные стихи, а ее голос подавал острые реплики с заднего плана.

Баритон декламировал:

Ты в метро опускаешь пятак,
Двое в штатском идут по пятам.
Ты за водкой стоишь в гастроном,
Двое в штатском стоят за углом...

– А это прочти, про хуй с бровями и Солженицына! – вставляла молодым голосом мать.

Так я впервые услышал матерное слово, которое благополучные дети перестроечной поры обычно узнавали от хихикающих соседей по детсадовской спальне. Каждый раз при прослушивании мама поясняла, что мат в этом контексте оправдан художественной необходимостью. Слово «контекст» было для меня даже загадочнее слова «хуй» – за всем этим угадывался таинственный и грозный мир взрослых, по направлению к которому я дрейфовал под дувшим из телевизора ветром перемен.

Правозащитная кассета была записана за много лет до моего рождения; подразумевалась, что мать отошла от активной борьбы из-за замужества, которое и увенчалось моим появлением на свет. Но материнская близость к революционной демократии, озарившая тревожным огнем мое детство, была, кажется, так и не замечена впадшим в маразм советским режимом.

Справа от моей кровати стену украшали две маленькие картины. Они были одинакового размера (сорок сантиметров в ширину, пятьдесят в высоту – первое, что я измерил линейкой из набора «подарок первокласснику»). Одна изображала лимонное деревце в кадке, другая – такое же апельсиновое. Различались только цвет и форма плодов: вытянутые желтые и круглые оранжевые.

А прямо над кроватью висел плетеный веер в форме сердца. Он был слишком большим, чтобы им обмахиваться. Во впадине между сердечными буграми была круглая ручка, из-за которой веер казался похожим на гигантскую летучую мышь с маленькой головкой. В центре он был подкрашен красным лаком.

Мне казалось, что это летающая собака-вампир (я читал о таких в журнале «Вокруг Света»), которая оживает по ночам, а днем отдыхает на стене. Выпитая кровь просвечивала сквозь ее кожу, как сквозь брюшко комара, поэтому в центре веера было красное пятно.

Кровь, как я догадывался, была моя.

Я понимал, что эти страхи – эхо историй, которых я наслушался в летних лагерях (из смены в смену они повторялись без изменений). Но кошмары регулярно заставляли меня просыпаться в холодном поту. Под конец дошло до того, что я стал бояться темноты – присутствие распластавшейся на стене собаки-вампира было физически ощутимо, и следовало включить свет, чтобы заставить ее снова стать веером из пальмовых листьев. Матери жаловаться было бесполезно. Поэтому я ограничился тем, что втайне от нее приклеил веер к обоям клеем «Момент». Тогда страх прошел.

Свою первую схему мироздания я тоже вывез из летних лагерей. В одном из них я видел удивительную фреску: плоский диск земли лежал на трех китах в бледно-голубом океане. Из земли росли деревья, торчали телеграфные столбы и даже катил среди нагромождения одинаковых белых домов веселый красный трамвай. На торце земного диска было написано «СССР». Я знал, что родился в этом самом СССР, а потом он распался. Это было сложно понять. Выходило, что дома, деревья и трамваи остались на месте, а твердь, на которой они находились, исчезла... Но я был еще мал, и мой ум смирился с этим парадоксом так же, как смирялся с сотнями других. Тем более что экономическую подоплеку советской катастрофы я уже начал понимать: страна, посылавшая двух офицеров в штатском туда, где в нормальных обществах обходятся пособием по безработице, не могла кончить иначе.

Но это были зыбкие тени детства.

По-настоящему я запомнил себя с момента, когда детство кончилось. Это произошло, когда я смотрел по телевизору старый мультфильм: на экране маршировала колонна коротышек, счастливых малышей из советского комикса. Весело отмахивая руками, коротышки пели:

Но вот пришла лягушка
Зелененькое брюшко,
Зелененькое брюшко,
И съела кузнеца.
Не думал не гадал он,
Никак не ожидал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца...

Я сразу понял, о каком кузнеце речь: это был мускулистый строитель нового мира, который взмахивал молотом на старых плакатах, отрывных календарях и почтовых марках. Веселые коротышки отдавали Советскому Союзу последний салют из своего Солнечного города, дорогу в который люди так и не смогли найти.

Глядя на колонну коротышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, которого я не помнил. Коротышки маршировали среди огромных, в полтора роста, цветов-колокольчиков. Эти огромные колокольчики вдруг напомнили мне о чем-то простом и самом главном – и уже забытом мною.

Я понял, что ласковый детский мир, в котором все предметы казались такими же большими, как эти цветы, а счастливых солнечных дорог было столько же, сколько в мультфильме, навсегда остался в прошлом. Он потерялся в траве, где сидел кузнецик, и было понятно, что дальше придется иметь дело с лягушкой – чем дальше, тем конкретней...

У нее действительно было зелененькое брюшко, а спинка была черной, и на каждом углу работало ее маленькое бронированное посольство, так называемый *обменный пункт*. Взрослые

верили только ей, но я догадывался, что когда-нибудь обманет и лягушка – а кузнеца будет уже не вернуть...

Кроме коротышек из мультфильма, никто толком не попрощался с несуразной страной, в которой я родился. Даже три кита, на которых она держалась, сделали вид, что они тут ни при чем, и открыли мебельный магазин (их рекламу крутили по телевизору – «есть три кита, три кита – все остальное суета...»).

Про историю своей семьи я не знал ничего. Но некоторые из окружавших меня предметов несли на себе печать чего-то мрачно-загадочного.

Во-первых, это был старинный черно-белый эстамп, изображавший женщину-львицу с томно запрокинутым лицом, обнаженной грудью и мощными когтистыми лапами. Эстамп висел в коридоре, под похожей на лампадку лампочкой-миньоном. Лампадка давала мало света, и в полутьме изображение казалось магическим и страшным.

Я предполагал, что подобное существо ждет людей за «гробовым порогом». Это выражение, которое часто повторяла мать, я затвердил раньше, чем стал понимать его смысл (такой сложной абстракции, как прекращение существования, я не мог себе представить: мне казалось, что смерть – просто переезд в места, куда ведет тропинка между лапами сфинкса).

Другим посланием из прошлого были серебряные ножи и вилки с гербом: луком со стрелой и тремя летящими журавлями. Я нашел их в серванте, который мать обычно закрывала на ключ.

Отругав меня за любопытство, мать сказала, что это герб прибалтийских баронов фон Шторквинкель. Из их рода происходил мой отец. Моя фамилия была менее аристократичной – Шторкин. Мать объяснила, что такая операция с фамилией – обычная социальная маскировка времен военного коммунизма.

Отец ушел из семьи сразу после моего рождения; никакой другой информации о нем мне не удавалось получить, как я ни старался. Стоило мне заговорить на эту тему, как мать бледнела, зажигала сигарету и говорила каждый раз одно и то же – сначала тихо, а потом постепенно переходя на крик:

– Пошел вон. Слышишь? Пошел вон, мерзавец! Пошел вон, подлец!

Я предполагал, что это связано с какой-то мрачной и романтической тайной. Но, когда я перешел в восьмой класс, мать стала переоформлять документы на жилье, и я узнал про отца больше.

Тот работал журналистом в крупной газете; я даже нашел в интернете его колонку. С маленькой фотографии над столбцом текста приветливо глядел лысый человек в очках-велосипеде, а текст статьи объяснял, что Россия никогда не станет нормальной страной, пока народ и власть не научатся уважать чужую собственность.

Мысль была справедливая, но отчего-то меня не вдохновила. Возможно, дело было в том, что отец часто употреблял выражения, которых я тогда не понимал («плебс», «вменяемые элиты»). Улыбка на родительском лице вызвала во мне ревнивую досаду: она явно была адресована не мне, а вменяемым элитам, чью собственность я должен был научиться уважать.

Кончая школу, я задумался о выборе профессии. Из глянцевого журналов и рекламы были ясны ориентиры, на которые следовало нацелить жизнь, но вот методы, которыми можно было добиться успеха, оказались строго засекречены.

– Если количество жидкости, проходящее по трубе за единицу времени, остается прежним или растет по линейному закону, – часто повторял на уроке учитель физики, – логично предположить, что новых людей возле этой трубы не появится очень долго.

Теорема звучала убедительно, и мне захотелось отойти от этой трубы как можно дальше – вместо того чтобы рваться к ней вместе со всеми. Я решил поступить в Институт стран Азии и Африки, выучить какой-нибудь экзотический язык и уехать на работу в тропики.

Подготовка стоила дорого, и мать наотрез отказалась оплачивать репетиторов. Я понимал, что дело было не в ее жадности, а в скудости семейного бюджета, и не роптал. Попытка вспомнить об отце окончилась обычным скандалом. Мать сказала, что настоящему мужчине следует с самого начала пробиваться самому.

Я был бы рад пробиваться – проблема заключалась в том, что было непонятно, куда и как. Мутный туман вокруг не оказывал сопротивления – но найти в нем дорогу к деньгам и свету было мало надежды.

Я провалил первый же экзамен, сочинение, которое почему-то писали на физфаке МГУ. Тема была «Образ Родины в моем сердце». Я написал про мультфильм, где коротышки пели про кузнечика, про распиленную шайбу со словом «СССР» и ссучившихся китов... Я, конечно, догадывался, что при поступлении в такой престижный вуз не следует говорить правду, но выхода у меня не было. Погубила меня, как мне сообщили, фраза: «И все-таки я патриот – я люблю наше жестокое несправедливое общество живущее в условиях вечной мерзлоты». После слова «общество» должна была стоять запятая.

Во время прощального визита в приемную комиссию я увидел висящий на двери рисунок с изображением веселой улитки (она, как и отец на фотографии из интернета, улыбалась явно кому-то другому). Под ней было стихотворение древнеяпонского поэта:

О, Улитка! Взбираясь к вершине Фудзи,
можешь не торопиться...

Вынув ручку, я дописал:

Там на вершине Фудзи улиток полно и так.

Это было мое первое серьезное жизненное поражение. Я ответил судьбе тем, что устроился работать грузчиком в универсаме возле дома.

В первые несколько дней мне казалось, что я нырнул на самое дно жизни и стал недостижим для законов социального дарвинизма. Но вскоре я понял, что никакая глубина, никакое гетто не спасает от этих законов, поскольку любая клеточка общественного организма живет по тем же принципам, что и общество в целом. Я даже помню, при каких обстоятельствах это стало мне ясно (в ту минуту я балансировал на грани ясновидения – но выяснилось это намного позже).

Я смотрел английский фильм «Дюна», в котором межзвездные путешествия обеспечивали так называемые навигаторы, существа, постоянно принимавшие специальный наркотик и превратившиеся из-за него во что-то среднее между человеком и птеродактилем. Навигатор расправлял свои перепончатые крылья, сворачивал пространство, и флотилия космических кораблей переносилась из одной части космоса в другую... Мне представилось, что где-то в Москве такое же жуткое перепончатое существо простирает крыла над миром. Люди ничего не замечают и муравьями ползут по своим делам, но никаких дел у них уже нет. Они еще не в курсе, а вокруг уже другая вселенная и действуют новые законы.

Эти законы действовали и в мире грузчиков – в нем полагалось правильно (не меньше и не больше определенной нормы) воровать, полагалось иметь общак, полагалось бороться за место поближе к невидимому солнцу, причем бороться не как попало, а с помощью освященных обычаем телодвижений. В общем, своя Фудзи, пускай невысокая и заблеванная, была и здесь.

Стоит ли говорить, что я снова отстал при восхождении. Меня стали назначать подряд на ночные смены и подставлять перед начальством. Быть лузером среди грузчиков показалось мне невыносимым, и, когда началось второе лето после школы, я ушел с работы.

Пока у меня оставались заработанные в универсаме деньги (с учетом украденного было не так мало), можно было сохранять относительную независимость от матери, и я сократил общение с ней до минимума. Оно, собственно, свелось к единственному ритуалу – иногда мать останавливала меня в коридоре и говорила:

– Ну-ка погляди мне в глаза!

Она была уверена, что я принимаю наркотики, и считала себя способной определить, когда я под кайфом, а когда нет. Я не употреблял никаких субстанций, но у матери выходило, что я под дозой почти каждый день, а иногда – под одновременным воздействием целой группы наркотических веществ. Для вынесения вердикта отслеживался не размер глазного зрачка или краснота белка, а какие-то особые приметы, которые мать держала в тайне, чтобы я не научился маскироваться – поэтому оспорить материнскую экспертизу было невозможно в принципе. Я и не спорил, понимая, что это будет лишним доказательством ее правоты («какой ты агрессивный становишься под наркотиками, ужас просто!»).

Кроме того, мать обладала изрядной гипнотической силой: стоило ей, например, сказать: «Да у тебя же слова прыгают!» – как у меня действительно начинали прыгать слова, хотя перед этим я даже не понимал, что это выражение может означать. Поэтому, если мать слишком уж доставала, я молча собирался и уходил из дома на несколько часов.

Однажды летним днем у нас случился очередной наркотический скандал. В этот раз он был особенно бурным; я больше не мог оставаться дома. Выходя из квартиры, я не удержался и сказал:

– Все. Больше я здесь жить не буду.

– Хорошая новость, – ответила мать с кухни.

Ни я, ни она, конечно, не имели этого в виду на самом деле.

В центре было хорошо – тихо и малоллюдно. Я бродил по переулкам между Тверским бульваром и Садовым кольцом, думая нечто смутное, не до конца поддающееся переводу в слова: что летняя Москва хороша не своими домами и улицами, а намеком на те таинственные невозможные места, куда из нее можно уехать. Этот намек был повсюду – в ветерке, в легких облаках, в тополином пухе (тополя в то лето цвели рано).

Вдруг мое внимание привлекла стрелка на тротуаре. Она была нарисована зеленым мелком. Рядом со стрелкой была надпись тем же цветом:

Реальный шанс войти в элиту

22.06 18.40–18.55

Второго не будет никогда

Часы показывали без пятнадцати семь. Кроме того, было именно двадцать второе июня, день летнего солнцестояния. Стрелку уже прилично затерли подошвы. Было ясно, что это чья-то шутка. Но мне захотелось поиграть в предложенную неизвестно кем игру.

Я огляделся по сторонам. Редкие прохожие шли по своим делам, не обращая на меня внимания. В окнах вокруг тоже не было ничего интересного.

Стрелка указывала в подворотню. Я зашел в арку и увидел на асфальте другую зеленую стрелку – в глубину двора. Никаких надписей рядом не было. Я сделал еще несколько шагов и увидел маленький хмурый двор: две старые машины, мусорный контейнер и дверь черного хода в крашеной кирпичной стене. На асфальте перед дверью была еще одна зеленая стрелка.

Такие же были и на лестнице.

Последняя стрелка была на пятом этаже – она показывала на бронированную дверь черного хода большой квартиры. Дверь была приоткрыта. Затаив дыхание, я заглянул в щелку и сразу же испуганно отшатнулся.

В полутьме за дверью стоял человек. В руке у него был какой-то предмет, похожий на паяльную лампу. Но я не успел ничего рассмотреть. Он что-то сделал, и наступила тьма.

Здесь мои воспоминания о прошлом приблизились к настоящему настолько, что я вспомнил, где нахожусь – и пришел в себя.

Митра

Я стоял у той же шведской стенки. Мне жутко хотелось в туалет. Кроме того, что-то было не в порядке с моим ртом. Проинспектировав его языком, я понял, что верхние клыки вывалились из десны – теперь на их месте были две дыры. Видимо, я выплюнул зубы во сне – во рту их не было.

Кажется, в комнате появился кто-то живой – но я не мог сфокусировать взгляд и видел перед собой просто мутное пятно. Это пятно пыталось привлечь мое внимание, производя тихие звуки и совершая однообразные движения. Внезапно мои глаза сфокусировались, и я увидел перед собой незнакомого человека, одетого в черное. Он водил рукой перед моим лицом, проверяя, реагирую ли я на свет. Увидев, что я пришел в себя, незнакомец приветственно кивнул головой и сказал:

– Митра.

Я догадался, что это имя.

Митра был сухощавым молодым человеком высокого роста, с острым взглядом, эспаньолкой и еле обозначенными усами. В нем было что-то мефистофелевское, но с апгрейдом: он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу встал на путь прагматизма, и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели.

– Роман, – сипло выговорил я и перевел глаза на диван у стены.

Трупа на нем уже не было. Крови на полу тоже.

– А где...

– Унесли, – сказал Митра. – Увы, это трагическое событие застало нас врасплох.

– Почему он был в маске?

– Покойный был обезображен в результате несчастного случая.

– Поэтому он и застрелился?

Митра пожал плечами.

– Никто не знает. Покойный оставил записку, из которой следует, что его преемником будешь ты...

Он смерил меня внимательным взглядом.

– И это похоже на правду.

– Я не хочу, – сказал я тихо.

– Не хо-че-шь? – протянул Митра.

Я отрицательно покачал головой.

– Не понимаю, – сказал он. – Ты, по-моему, должен быть счастлив. Ты ведь продвинутый парень. Иначе бы Брама тебя не выбрал. А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране – работать клоуном у пидарасов.

– Мне кажется, – ответил я, – есть и другие варианты.

– Есть. Кто не хочет работать клоуном у пидарасов, будет работать пидарасом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.

На это я не стал возражать. Чувствовалось, что Митра знает жизнь не понаслышке.

– А ты теперь вампир, – продолжал он. – Ты просто еще не понял, как тебе повезло. Забудь сомнения. Тем более что назад дороги все равно нет... Лучше скажи, как самочувствие?

– Плохо, – сказал я. – Голова очень болит. И в туалет хочется.

– Что еще?

– Зубы выпали. Верхние клыки.

– Сейчас мы все проверим, – сказал Митра. – Одна секунда.

В его руке появилась короткая стеклянная пробирка с черной пробкой. Она была до половины заполнена прозрачной жидкостью.

– В этом сосуде водный раствор красной жидкости из вены человека. Она разведена из расчета один к ста...

– А кто этот человек?

– Узнай сам.

Я не понял, что Митра имеет в виду.

– Открой рот, – сказал он.

– Это не опасно?

– Нет. Вампир иммунен к любым болезням, передающимся через красную жидкость.

Я повиновался, и Митра аккуратно уронил мне на язык несколько капель из пробирки. Жидкость ничем не отличалась от обычной воды – если в ней и было что-то чужеродное, на вкус это не ощущалось.

– Теперь потри языком о верхнюю десну. Ты кое-что увидишь. Мы называем это маршрутом личности...

Я потрогал нёбо кончиком языка. Там теперь было что-то чужеродное. Но больно не было – ощущалось только легкое пощипывание, как от слабого электричества. Я несколько раз провел языком по десне, и вдруг...

Не будь я привязан к шведской стенке, я бы, наверное, не удержал равновесия. Внезапно я испытал яркое и сильное переживание, не похожее ни на что из известного мне прежде. Я увидел – или, вернее, почувствовал – другого человека. Я видел его изнутри, словно я сделался им сам, как иногда бывает во сне.

В покоем на полярное сияние облаке, которым мне представился этот человек, можно было выделить две зоны – как бы отталкивания и притяжения, темноты и света, холода и тепла. Они входили друг в друга множественными кляксами и архипелагами, так что их пересечение напоминало то теплые острова в ледяном море, то холодные озера на согретой земле. Зона отталкивания была заполнена неприятным и тягостным – тем, чего этот человек не любил. Зона притяжения, наоборот, содержала все, ради чего он жил.

Я увидел то, что Митра называл «маршрутом личности». Сквозь обе зоны действительно проходил некий трудноописуемый невидимый маршрут, подобие колеи, куда внимание соскальзывало само. Это был след привычек ума, борозда, протертая повторяющимися мыслями – нечеткая траектория, по которой изо дня в день двигалось внимание. Проследив за маршрутом личности, можно было за несколько секунд выяснить все самое важное про человека. Я понял это без дополнительных объяснений Митры – словно когда-то уже знал все сам.

Человек работал компьютерным инженером в московском банке. У него было множество секретов от других людей, были даже стыдные секреты. Но главной его проблемой, позором и тайной было то, что он плохо разбирался в «Windows». Он ненавидел эту операционную систему как эзек злого надзирателя. Доходило до смешного – например, просто из-за существования «Windows Vista», у него портилось настроение, когда он слышал в кино испанское выражение «hasta la vista». Все, связанное с работой, располагалось в зоне отталкивания, а в самом центре реял флаг «Windows».

В центре зоны притяжения был, как мне сначала показалось, секс – но, приглядевшись, я понял, что главной радостью в этой жизни было все-таки пиво. Упрощенно говоря, человек жил для того, чтобы пить качественное немецкое пиво немедленно вслед за половым сношением – и ради этого переносил все ужасы службы. Возможно, он сам не понимал про себя главного – но мне это было очевидно.

Я не могу сказать, что чужая жизнь открылась мне полностью. Я словно стоял у приоткрытой двери в темную комнату и водил по разрисованной стене лучом фонаря. Каждая из картинок, на которой я задерживал внимание, приближалась и дробилась на множество других, и так много-много раз. Я мог добраться до любого воспоминания – но их было слишком много. Затем картинки потускнели, как будто у фонаря села батарейка, и все исчезло.

– Видел? – спросил Митра.

Я кивнул.

– Что?

– Компьютерный специалист.

– Опиши.

– Как весы, – сказал я. – С одной стороны пиво, с другой «Виндоуз».

Митра не удивился этой странной фразе. Он уронил каплю жидкости себе в рот и несколько секунд шевелил губами.

– Да, – согласился он. – Виндоуз х-р-р-р.

Я тоже не удивился, услышав это: компьютерный специалист выражал свою ненависть к одной из версий обслуживаемого продукта, произнося «ХР» по-русски – получалось как бы тихое похрюкивание.

– Что я видел? – спросил я. – Что это было?

– Твоя первая дегустация. В предельно облегченном варианте. Если бы препарат был чистым, ты бы перестал понимать, кто ты на самом деле. И продолжалось бы все гораздо дольше. С непривычки можно получить психическую травму. Но так остро все ощущается только поначалу. Потом ты привыкнешь... Что же, поздравляю. Теперь ты один из нас. Почти один из нас.

– Простите, – сказал я, – а вы кто?

Митра засмеялся.

– Я предлагаю сразу перейти на «ты».

– Хорошо. Кто ты такой, Митра?

– Я твой старший товарищ. Правда, старше я ненамного. Такое же существо, как ты. Надеюсь, мы станем друзьями.

– Раз мы должны стать друзьями, – сказал я, – могу я попросить об одной дружеской услуге авансом?

Митра улыбнулся.

– Разумеется.

– Нельзя ли отвязать меня от этой стенки? Мне надо в туалет.

– Конечно, – сказал Митра. – Я прошу прощения, но мне следовало убедиться, что все прошло нормально.

Когда веревки упали на пол, я попытался сделать шаг вперед – и свалился бы, если бы Митра не подхватил меня.

– Осторожно, – сказал он, – возможны проблемы с вестибулярным аппаратом. Должно пройти несколько недель, пока язык полностью приживется... Ты можешь идти? Или тебе помочь?

– Могу, – сказал я. – Где?

– Налево по коридору. Возле кухни.

Туалет, выдержанный в одном стиле с квартирой, походил на музей сантехнической готики. Я уселся на подобие черного гностического трона с дырой посередине и попытался собраться с мыслями. Но это не удалось – мысли совершенно не хотели собираться друг с другом. Они вообще куда-то пропали. Я не ощущал ни страха, ни возбуждения, ни заботы о том, что случится дальше.

Выйдя из туалета, я понял, что меня никто не сторожит. В коридоре никого не было. На кухне тоже. Дверь черного хода, через которую я вошел в квартиру, была всего в нескольких шагах на кухне. Но я не думал о побеге – и это было самое странное. Я знал, что сейчас вернусь в комнату и продолжу разговор с Митрой.

«Почему я не хочу бежать?» – подумал я.

Откуда-то я знал, что делать этого не следует. Я попытался понять, откуда – и заметил нечто крайне странное. В моем уме словно появился центр тяжести, какой-то черный шар, такой непоколебимо устойчивый, что равновесию оснащенной им души ничто не угрожало. Именно там теперь оценивались все возможные варианты действий – принимались или отвергались. Мысль о побеге была взвешена на этих весах и найдена слишком легкой.

Шар хотел, чтобы я вернулся назад. А поскольку этого хотел шар, этого хотел и я. Шар не сообщал мне, чего он хочет. Скорее, он просто катился в сторону нужного решения – а вместе с ним туда катился и я. «Так вот почему Митра выпустил меня из комнаты, – понял я. – Он знал, что я не убегу». Я догадывался, откуда Митра это знал. У него внутри был такой же точно шар.

– Что это такое? – спросил я, вернувшись в комнату.

– О чем ты?

– У меня теперь внутри какое-то ядро. И все, что я пытаюсь думать, проходит через него. Словно я... потерял душу.

– Потерял душу? – переспросил Митра. – А зачем она тебе?

Видимо, на моем лице отразилось замешательство – Митра засмеялся.

– Душа – это ты или не ты? – спросил он.

– В каком смысле?

– В прямом. Что ты называешь душой – себя или нечто другое?

– Наверно, себя... Или нет, скорее все-таки что-то другое...

– Давай рассуждать логически. Если душа – это не ты, а что-то другое, зачем тебе о ней волноваться? А если это ты, как ты мог ее потерять, если ты сам – вот он?

– Да, – сказал я, – разводить ты умеешь, вижу.

– И тебя научим. Я знаю, почему ты паришься.

– Почему?

– Культурный шок. В человеческой мифологии считается, что тот, кто становится вампиром, теряет душу. Это ерунда. Все равно что сказать, будто лодка теряет душу, когда на нее ставят мотор. Ты ничего не потерял. Ты только приобрел. Но приобрел так много, что все известное тебе прежде ужалось до полного ничтожества. Отсюда и чувство потери.

Я сел на диван, где совсем недавно лежал труп человека в маске. Мне, наверно, было бы жутко сидеть на этом месте, но тяжелому черному шару у меня внутри было все равно.

– У меня нет чувства потери, – сказал я. – У меня даже нет чувства, что я – это я.

– Правильно, – ответил Митра. – Ты теперь другой. То, что тебе кажется ядром – это язык. Раньше он жил в Бrame. Теперь он живет в тебе.

– Помню, – сказал я, – Брама говорил, что его язык перейдет в меня...

– Только не думай, пожалуйста, что это язык Бrame. Это Брама был телом языка, а не наоборот.

– А чей тогда это язык?

– Нельзя говорить, что он чей-то. Он свой собственный. Личность вампира делится на голову и язык. Голова – это человеческий аспект вампира. Социальная личность со всем своим багажом и бараклом. А язык – это второй центр личности, главный. Он и делает тебя вампиром.

– А что это такое – язык?

– Другое живое существо. Высшей природы. Язык бессмертен и переходит от одного вампира к другому – вернее, пересаживается с одного человека на другого, как всадник. Но он способен существовать только в симбиозе с телом человека. Вот, гляди!

Митра указал на картину с конным Наполеоном. Наполеон был похож на пингвина, и при желании можно было увидеть на картине цирковой номер: пингвин едет на лошади во время фейерверка...

– Я чувствую язык не телом, – сказал я, – а как-то иначе.

– Все правильно. Фокус в том, что сознание языка сливается с сознанием человека, в котором он селится. Я сравнил вампира со всадником, но более точное уподобление – это кентавр. Некоторые говорят, что язык подчиняет себе человеческий ум. Но правильнее считать, что язык поднимает ум человека до собственной высоты.

– Высота? – переспросил я. – У меня, наоборот, чувство, что я провалился в какую-то яму. Если это высота, почему мне теперь так... так темно?

Митра хмыкнул.

– Темно бывает и под землей, и высоко в небе. Я знаю, каково тебе сейчас. Это трудный период и для тебя, и для языка. Можно считать, второе рождение. Для тебя в переносном смысле, а для языка – в самом прямом. Для него это новая инкарнация, поскольку вся человеческая память и опыт, накопленные вампиром, исчезают, когда язык переходит в новое тело. Ты чистый лист бумаги. Новорожденный вампир, который должен учиться, учиться и учиться.

– Чему?

– Тебе предстоит за короткое время стать высококультурной и утонченной личностью. Значительно превосходящей по интеллектуальным и физическим возможностям большинство людей.

– А как я смогу этого достичь за короткое время?

– У нас особые методики, очень эффективные и быстрые. Но самому главному тебя научит язык. Ты перестанешь ощущать его как что-то чужеродное. Вы сольетесь в одно целое.

– Язык что, выедает какую-то часть мозга?

– Нет, – сказал Митра. – Он замещает миндалины и входит в контакт с префронтальным кортексом. Фактически к твоему мозгу добавляется дополнительный.

– А я останусь собой?

– В каком смысле?

– Ну, вдруг это буду уже не я?

– В любом случае, ты завтрашний будешь уже не ты сегодняшний. А послезавтра – тем более. Если чему-то все равно суждено случиться, пусть оно произойдет с пользой. Разве не так?

Я встал с дивана и сделал несколько шагов по комнате. Каждый шаг давался с трудом, и это мешало думать. Я чувствовал, что Митра немного передергивает в разговоре – или, может быть, просто насмехается надо мной. Но в нынешнем состоянии я не мог с ним спорить.

– Что мне теперь делать? – спросил я. – Возвращаться домой?

Митра отрицательно покачал головой.

– Ни в коем случае. Теперь ты будешь жить в этой квартире. Личные вещи покойного уже увезли. Все оставшееся – твое наследство. Занимайся.

– Чем?

– К тебе будут ходить учителя. Привыкай к своему новому качеству. И к новому имени.

– Какому новому имени?

Митра взял меня за плечо и развернул лицом к зеркальному шкафу. Выглядел я страшно. Митра указал пальцем мне на лоб. Я увидел там разошедшуюся коричневую надпись и вспомнил, как перед смертью Брама написал что-то кровью у меня на лбу.

– А-М-А-Т, – прочел я по буквам, – нет, А-М-А-Ч...

– Рама, – поправил Митра. – Вампиры носят имена богов, таков древний обычай. Но все боги разные. Подумай над смыслом своего имени. Это лампа, которая будет освещать тебе дорогу.

Он замолчал – видимо, ожидая вопроса. Но вопросов у меня не было.

– Это так принято говорить – про лампу, – пояснил Митра. – Тоже традиция. Но если честно, ты и без лампы не заблудишься. Потому что дорога у вампиров одна. И гулять по ней можно только в одну сторону, хоть с лампой, хоть без.

И он засмеялся.

– Теперь мне пора, – сказал он. – Встретимся во время великого грехопадения.

Я решил, что Митра шутит.

– Что это такое?

– Это нечто вроде экзамена на право быть вампиром.

– У меня неважно с экзаменами, – сказал я. – Я их проваливаю.

– Никогда не вини себя в том, в чем можно обвинить систему. Ты написал очень хорошее сочинение, искреннее и свежее. Оно даже свидетельствует о твоём литературном таланте. Просто на вершине Фудзи ждали других улиток.

– Ты меня укусил?

Он кивнул, сунул руку в карман и вынул узкую, с сигарету размером стеклянную трубку, закрытую с обеих сторон пластмассовыми втулками. В ней было несколько капель крови.

– Это твоё личное дело. С ним ознакомишься и другие. Наши старшие.

И он выразительно посмотрел куда-то вверх.

– Теперь о бытовых проблемах. В секретере деньги, которые могут тебе понадобиться. Еду тебе будут приносить из ресторана внизу. Домработница будет убирать здесь два раза в неделю. Если что-то нужно, купи.

– Куда я пойду с такой рожей? – спросил я и кивнул на своё отражение.

– Это скоро пройдет. А я распоряжусь, чтобы тебе привезли все необходимое. Одежду и обувь.

– Сказать размер?

– Не надо, – ответил он и цокнул языком. – Я знаю.

Энлиль

В детстве мне часто хотелось чудесного. Наверно, я бы не отказался стать летающим тибетским йогом, как Миларепа, или учеником колдуна, как Карлос Кастанеда и Гарри Поттер. Я согласился бы и на судьбу попроще: стать героем космоса, открыть новую планету или написать один из тех великих романов, которые сотрясают человеческое сердце, заставляя критиков скрипеть зубами и кидаться калом со дна своих ям.

Но стать вампиром... Сосать кровь...

Ночью меня мучили кошмары. Я видел своих знакомых – они оплакивали мою беду и извинялись, что не смогли мне помочь. Ближе к утру мне приснилась мать. Она была грустной и ласковой – такой я давно не помнил ее в жизни. Прижимая к глазам платок с гербом баронов фон Шторквинкель, она шептала:

– Ромочка, моя душа стерегла твой сон над твоей кроватью. Но ты приклеил меня к стене клеем «Момент», и я ничем не смогла тебе помочь!

Я не знал, что ответить – но на помощь пришел язык, который внимательно смотрел эти сны вместе со мной (для него, похоже, не было особой разницы между сном и явью):

– Извините, но вы не его мама, – сказал он моим голосом. – Его мама сказала бы, что он этот клей нюхает.

После этого я проснулся.

Я лежал в огромной кровати под расшитым коричнево-золотым балдахином. Такая же коричнево-золотая штора плотно закрывала окно; обстановка была, что называется, готичной. На тумбе рядом с кроватью стоял черный эбонитовый телефон, стилизованный под пятидесятые годы прошлого века.

Я встал и поплелся в ванну.

Увидев себя в зеркале, я отшатнулся. Половину моего лица занимали черно-лиловые синяки вокруг глаз, какие бывают при сотрясении мозга. Вчера их не было. Они выглядели жутко. Но все остальное было не так уж плохо. Кровь я отмыл еще вечером; на шее под челюстью осталась только черная засохшая дырка, похожая на след проткнувшего кожу гвоздя. Она не кровоточила и не болела – было даже странно, что такая маленькая ранка могла причинить мне такую жуткую боль.

Мой рот выглядел как раньше, за исключением того, что на припухшем нёбе выступил густой оранжевый налет. Область, где он появился, слегка онемела. Дыры на месте выпавших клыков жутко зудели, и в черных ранках видны были сахарно-белые кончики новых зубов – они росли неправдоподобно быстро.

Ядро внутри уже не мешало – хотя никуда не исчезло. За ночь я почти привык. Я чувствовал равнодушную отрешенность, словно все происходило не со мной, а с каким-то другим человеком, за которым я следил из четвертого измерения. Это придавало происходящему приятную необязательность и казалось залогом незнакомой прежде свободы – но я был еще слишком слаб, чтобы заниматься самоанализом.

Приняв душ, я принялся за осмотр квартиры. Она поражала размерами и мрачной роскошью. Кроме спальни и комнаты с картотекой, здесь была комната-кинозал с коллекцией масок на стенах (венецианские, африканские, китайские и еще какие-то, которые я не смог классифицировать), и еще что-то вроде гостиной с камином и креслами, где на самом почетном месте стоял антикварный радиоприемник в корпусе красного дерева.

Была комната, назначения которой я не смог понять – даже не комната, а скорее большой чулан, пол которого покрывали толстые мягкие подушки. Его стены были задрапированы черным бархатом с изображением звезд, планет и солнца (у всех небесных тел были человеческие лица – непроницаемые и мрачные). В центре чулана была конструкция, напоминаю-

шая огромное серебряное стремя: перекладина, прикрепленная к изогнутой металлической штанге, которая висела на спускающейся с потолка цепи. Из стены торчал металлический вентиль, поворачивая который, можно было опускать и поднимать штангу над подушками. Зачем нужно такое устройство, я не мог себе представить. Разве для того, чтобы поселить в чулане огромного попугая, любящего одиночество... Еще на стенах чулана были какие-то белые коробки, похожие на датчики сигнализации.

Комната с картотекой, где застрелился Брама, была мне, по крайней мере, знакома. Я уже провел в ней немало времени, поэтому чувствовал себя вправе изучить ее детальнее.

Это, видимо, был рабочий кабинет прежнего хозяина – хотя в чем могла заключаться его работа, сказать было трудно. Открыв наугад несколько ящиков в картотеке, я обнаружил в них пластмассовые рейки с обоями пробирок, закрытых черными резиновыми пробками. В каждой было два-три кубика прозрачной жидкости.

Я догадывался, что это такое. Митра давал мне попробовать препарат «Виндоуз хр-р» из похожей пробирки. Видимо, это была какая-то вампирическая библиотека. Пробирки были помечены номерами и буквами. На каждом ящике картотеки тоже был индекс – комбинация нескольких букв и цифр. Видимо, к библиотеке должен был существовать каталог.

На стене висели две картины с обнаженной натурой. На первой в кресле сидела голая девочка лет двенадцати. Ее немного портило то, что у нее была голова немолодого лысого Набокова; соединительный шов в районе шеи был скрыт галстуком-бабочкой в строгий буржуазный горошек. Картина называлась «Лолита».

Вторая картина изображала примерно такую же девочку, только ее кожа была очень белой, а сисечек у нее не было совсем. На этой картине лицо Набокова было совсем старым и дряблым, а маскировочный галстук-бабочка на соединительном шве был несуразно большим и пестрым, в каких-то кометах, петухах и географических символах. Эта картина называлась «Ада».

Некоторые физические особенности детских тел различались – но смотреть на девочек было неприятно и даже боязно из-за того, что глаза двух Набоковых внимательно и брезгливо изучали смотрящего – этот эффект неизвестному художнику удалось передать мастерски.

Мне вдруг показалось, что в шею подул еле заметный ветерок.

– Владимир Владимирович Набоков как воля и представление, – сказал за моей спиной звучный бас.

Я испуганно обернулся. В метре от меня стоял невысокий полный мужчина в черном пиджаке поверх темной водолазки. Его глаза были скрыты зеркальными черными очками. На вид ему было пятьдесят-шестьдесят лет; у него были густые брови, крючковатый нос и высокий лысый лоб.

– Понимаешь, что хотел сказать художник? – спросил он.

Я отрицательно помотал головой.

– Романы Набокова «Лолита» и «Ада» – это варианты трехспальной кровати «Владимир с нами». Таков смысл.

Я посмотрел сначала на Лолиту, потом на Аду – и заметил, что ее молочно-белая кожа изрядно засижена мухами.

– Лолита? – переспросил я. – Это от «LOL»?

– Не понял, – сказал незнакомец.

– «Laughed out loud», – пояснил я. – Термин из сети. По-русски будет «ржунимагу» или «пацталом». Получается, Лолита – это девочка, которой очень весело.

– Да, – вздохнул незнакомец, – другие времена, другая культура. Иногда чувствуешь себя просто каким-то музейным экспонатом... Ты читал Набокова?

– Читал, – соврал я.

– Ну и как тебе?

– Бред сивой кобылы, – сказал я уверенно.

С такой рецензией невозможно было попасть впросак, я это давно понял.

– О, это в десятку, – сказал незнакомец и улыбнулся. – Ночной кошмар по-английски «night mare», «ночная кобыла». Владимир Владимирович про это где-то упоминает. Но вот почему сивая? А-а-а! Понимаю, понимаю.... Страшнейший из кошмаров – бессонница... Бессонница, твой взор уныл и страшен... *Insomnia, your stare is dull and ashen...* Пепельный, седой, сивый...

Я вспомнил, что дверь черного хода все время оставалась открытой. Видимо, в квартиру забрел сумасшедший.

– Вся русская история, – продолжал незнакомец, – рушится в дыру этого ночного кошмара... И, главное, моментальность перехода от бреда к его воплощению. Сивка-бурка... Началось с кошмара, бреда сивой кобылы – и пожалуйста, сразу Буденный на крымском косогоре. И стек, и головки репейника...

Он уставился куда-то вдаль.

А может, и не сумасшедший, подумал я.

– Я не совсем понял, – спросил я вежливо, – а почему романы писателя Набокова – это трехспальная кровать?

– А потому, что между любовниками в его книгах всегда лежит он сам. И то и дело отпускает какое-нибудь тонкое замечание, требуя внимания к себе. Что невежливо по отношению к читателю, если тот, конечно, не герантофил... Знаешь, какая у меня любимая эротическая книга?

Напор незнакомца ошеломлял.

– Нет, – сказал я.

– «Незнайка на Луне». Там вообще нет ни слова об эротике. Именно поэтому «Незнайка» – самый эротический текст двадцатого века. Читаешь и представляешь, что делали коротышки в своей ракете во время долгого полета на Луну...

Нет, подумал я, точно не сумасшедший. Наоборот, очень разумный человек.

– Да, – сказал я, – я тоже об этом думал, когда был маленький. А кто вы?

– Меня зовут Энлиль Маратович.

– Вы меня напугали.

Он протянул мне бумажную салфетку.

– У тебя на шее мокро. Вытри.

Я ничего не чувствовал – но сделал, как он велел. На салфетке остались два пятнышка крови размером с копейку. Я сразу понял, почему он заговорил про коротышек.

– Вы тоже... Да?

– Другие здесь не ходят.

– Кто вы?

– В человеческом мире я считался бы начальством, – ответил Энлиль Маратович. – А вампиры называют меня просто координатором.

– Понятно, – сказал я, – а уже решил, что вы сумасшедший. Бессонница, Набоков на Луне... Это у вас манера отвлекать такая? Чтобы укуса не заметили?

Энлиль Маратович криво улыбнулся.

– Как ты себя чувствуешь?

– Так себе.

– Вид у тебя, прямо скажем, неважнецкий. Но так всегда бывает. Я принес тебе мазь, смажешь синяки на ночь. Утром все пройдет. И еще я принес таблетки кальция – каждый день надо принимать пятнадцать штук. Это для зубов.

– Спасибо.

– Я вижу, – сказал Энлиль Маратович, – ты не очень-то рад тому, что с тобой приключилось. Не ври, не надо. Я знаю. Все нормально. И даже замечательно. Это означает, что ты хороший человек.

– А разве вампир должен быть хорошим человеком?

Брови Энлиля Маратовича залезли высоко на лоб.

– Конечно! – сказал он. – А как иначе?

– Но ведь... – начал я, но не договорил.

Я хотел сказать, что вовсе не надо быть хорошим человеком, чтобы сосать чужую кровь, скорее наоборот – но мне показалось, это прозвучит невежливо.

– Рама, – сказал Энлиль Маратович, – ты не понимаешь, кто мы на самом деле. Все, что ты знаешь про вампиров, неправда. Сейчас я тебе кое-что покажу. Иди за мной.

Я последовал за ним, и мы пришли в комнату, где были камин и кресла. Энлиль Маратович приблизился к камину и указал на висящую над ним черно-белую фотографию летучей мыши. Снимок был сделан с близкого расстояния. У мыши были черные бусинки глаз, собачьи уши торчком и морщинистый нос, похожий на свиной пяточок. Она походила на помесь поросенка и собаки.

– Что это? – спросил я.

– Это *Desmondus Rotundus*. Летучая мышь-вампир. Встречается в Америке по обе стороны от экватора. Питается красной жидкостью из тел крупных животных. Живет большими семьями в старых пещерах.

– А почему вы мне ее показываете?

Энлиль Маратович опустил в кресло и жестом велел мне сесть напротив.

– Если послушать сказки, которые рассказывают в Центральной Америке об этом крохотном создании, – сказал он, – покажется, что страшнее нет существа на свете. Тебе скажут, что эта летучая мышь – исчадие ада. Что она может принимать форму человека, чтобы завлечь жертву в чащу. Что стаи этих мышей способны до смерти загрызть заблудившихся в лесу. И массу подобной чепухи. Найдя пещеру, где живут мыши-вампиры, люди выкуривают их дымом. Или вообще взрывают все динамитом...

Он поглядел на меня так, словно мне следовало что-то сказать в ответ. Но я не знал, что.

– Люди по непонятной причине считают себя носителями добра и света, – продолжал он. – А вампиров полагают мрачным порождением зла. Но если поглядеть на факты... Попробуй назвать мне хоть одну причину, по которой люди лучше мышей-вампиров.

– Может быть, – сказал я, – люди лучше, потому что помогают друг другу?

– Люди делают это крайне редко. А мыши-вампиры помогают друг другу всегда. Они делятся друг с другом пищей, которую приносят домой. Еще?

Больше мне ничего не пришло в голову.

– Человек, – сказал Энлиль Маратович, – это самый жуткий и бессмысленный убийца на Земле. Никому из живых существ вокруг себя он не сделал ничего хорошего. А что касается плохого... Перечислять не надо?

Я отрицательно помотал головой.

– А эта крохотная зверюшка, которую человек избрал эмблемой своих тайных страхов, не убивает никого вообще. Она даже не причиняет серьезного вреда. Аккуратно прорезав кожу передними резцами, она выпивает свои два кубика, не больше и не меньше. Что за беда, допустим, для быка или лошади? Или для человека? Выпустить немного красной жидкости из жил считается полезным с медицинской точки зрения. Описан, например, случай, когда мышь-вампир спасла умиравшего от лихорадки католического монаха. Но, – он назидательно поднял вверх палец, – не описано ни одного случая, когда католический монах спас умирающую от лихорадки летучую мышь...

На это трудно было возразить.

– Запомни, Рама – все представления людей о вампирах ложны. Мы совсем не те злобные монстры, какими нас изображают...

Я поглядел на фотографию мыши. Ее мохнатая мордочка действительно не казалась угрожающей – скорее она была умной, нервной и немного испуганной.

– А кто же мы тогда? – спросил я.

– Ты знаешь, что такое пищевая цепь? Или, как иногда ее называют, цепь питания?

– Типа Макдоналдса?

– Не совсем. Макдоналдс – это fast-food chain, «цепь быстрого питания». А food chain, или просто «цепь питания» – это растения и животные, связанные друг с другом отношениями «пища-потребитель пищи». Как кролик и удав, как кузнечик и лягушка...

Он улыбнулся и подмигнул мне.

– ...или как лягушка и француз. Ну или как француз и могильный червь. Считается, что люди – вершина пирамиды, поскольку они могут есть кого угодно, когда угодно, как угодно и в каком угодно количестве. На этом основано человеческое самоуважение. Но на самом деле у пищевой цепи есть более высокий этаж, о котором люди в своем большинстве не имеют понятия. Это мы, вампиры. Мы высшее на Земле звено. Предпоследнее.

– А какое звено последнее? – спросил я.

– Бог, – ответил Энлиль Маратович.

Я ничего на это не сказал, только вжался в кресло.

– Вампиры не только высшее звено пищевой цепи, – продолжал Энлиль Маратович, – они еще и самое гуманное звено. Высокоморальное звено.

– Но мне кажется, – сказал я, – что паразитировать на других все же нехорошо.

– А разве лучше лишать животное жизни, чтобы съесть его мясо?

Я опять не нашелся, что сказать.

– Как гуманнее, – продолжал Энлиль Маратович, – доить коров, чтобы пить их молоко, или убивать их, чтобы пустить на котлеты?

– Доить гуманнее.

– Конечно. Даже граф Лев Николаевич Толстой, который оказал на вампиров большое влияние, согласился бы с этим. Вампиры, Рама, так и поступают. Мы никого не убиваем. Во всяком случае, с гастрономической целью. Деятельность вампиров больше похожа на молочное животноводство.

Мне показалось, что он немного передергивает – совсем как Митра.

– Эти вещи нельзя сравнивать, – сказал я. – Люди специально разводят коров. К тому же коров искусственно вывели. В дикой природе таких не водится. Вампиры ведь не выводили людей, верно?

– Откуда ты знаешь?

– Вы хотите сказать, что вампиры искусственно вывели человека?

– Да, – ответил Энлиль Маратович. – Я хочу сказать именно это.

Я подумал, что он шутит. Но его лицо было совершенно серьезным.

– А как вампиры это сделали?

– Ты все равно ничего не поймешь, пока не изучишь гламур и дискурс.

– Не изучу чего?

Энлиль Маратович засмеялся.

– Гламур и дискурс, – повторил он. – Две главные вампирические науки. Видишь, ты даже не знаешь, что это такое. А собираешься говорить о таких сложных материях. Когда ты получишь достойное образование, я сам расскажу тебе про историю творения, и про то, как вампиры используют человеческий ресурс. Сейчас мы просто зря потратим время.

– А когда я буду изучать гламур и дискурс?

– С завтрашнего дня. Курс будут читать два наших лучших специалиста, Бальдр и Иегова. Они придут к тебе утром, так что ложись спать пораньше. Еще вопросы?

Я задумался.

– Вы говорите, что вампиры вывели людей. А почему тогда люди считают их злобными монстрами?

– Это скрывает истинное положение дел. И потом, так веселее.

– Но ведь человекоподобные приматы существуют на Земле много миллионов лет. А человек – сотни тысяч. Как же вампиры могли его вывести?

– Вампиры живут на Земле неизмеримо долго. И люди – далеко не первое, что служит им пищей. Но сейчас, я повторяю, об этом говорить рано. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы?

– Есть, – сказал я. – Но я не знаю, может быть, вы снова скажете, что об этом рано говорить.

– Попробуй.

– Скажите, каким образом вампир читает мысли другого человека? Когда сосет кровь?

Энлиль Маратович наморщился.

– «Когда сосет кровь», – повторил он. – Фу. Запомни, Рама, мы так не говорим. Мало того что это вульгарно, это может оскорбить чувства некоторых вампиров. Со мной пожалуйста. Я и сам могу красное словцо вернуть. Но вот другие, – он мотнул головой куда-то в сторону, – не простят.

– А как говорят вампиры?

– Вампиры говорят «во время дегустации».

– Хорошо. Каким образом вампир читает мысли другого человека во время дегустации?

– Тебя интересует практический метод?

– Метод я уже знаю, – сказал я. – Я хочу научное объяснение.

Энлиль Маратович вздохнул.

– Видишь ли, Рама, любое объяснение есть функция существующих представлений. Если это научное объяснение, то оно зависит от представлений, которые есть в науке. Скажем, в средние века считали, что чума передается сквозь поры тела. Поэтому для профилактики людям запрещали посещать баню, где поры расширяются. А сейчас наука считает, что чуму переносят блохи, и для профилактики людям советуют ходить в баню как можно чаще. Меняются представления, меняется и вердикт. Понимаешь?

Я кивнул.

– Так вот, – продолжал он, – в современной науке нет таких представлений, которые позволили бы, опираясь на них, научно ответить на твой вопрос. Я могу объяснить это только на примере из другой области, с которой ты знаком... Ты ведь разбираешься в компьютерном деле?

– Немного, – сказал я скромно.

– Разбираешься, и неплохо – я видел. Вспомни, почему фирма «Microsoft» так старалась вытеснить с рынка интернет-браузер «Netscape»?

Мне было приятно щегольнуть эрудицией.

– В то время никто не знал, как будут эволюционировать компьютеры, – сказал я. – Было две концепции развития. По одной, вся личная информация пользователя должна была храниться на хард-диске. А по другой, компьютер превращался в простое устройство для связи с сетью, а информация хранилась в сети. Пользователь подключался к линии, вводил пароль и получал доступ к своей ячейке. Если бы победила эта концепция, тогда монополистом на рынке оказался бы не «Microsoft», а «Netscape».

– Вот! – сказал Энлиль Маратович. – Именно. Я сам ни за что бы так ясно не сформулировал. Теперь представь себе, что человеческий мозг – это компьютер, про который никто ничего не знает. Сейчас ученые считают, что он похож на хард-диск, на котором записано все

известное человеку. Но может оказаться и так, что мозг – просто модем для связи с сетью, где хранится вся информация. Можешь такое вообразить?

– В общем да, – сказал я. – Вполне.

– Ну а дальше все просто. Когда пользователь связывается со своей ячейкой, он вводит пароль. Если ты перехватываешь пароль, ты можешь пользоваться чужой ячейкой точно так же, как своей собственной.

– Ага. Понял. Вы хотите сказать, что пароль – это какой-то информационный код, который содержится в крови?

– Ну пожалуйста, не надо употреблять это слово, – наморщился Энлиль Маратович. – Отвыкай с самого начала. Запомни – на письме ты можешь пользоваться словом на букву «к» сколько угодно, это нормально. Но в устной речи это для вампира непристойно и недопустимо.

– А что говорить вместо слова на букву «к»?

– Красная жидкость, – сказал Энлиль Маратович.

– Красная жидкость? – переспросил я.

Несколько раз я уже слышал это выражение.

– Американизм, – пояснил Энлиль Маратович. – Англосаксонские вампиры говорят «red liquid», а мы копируем. Вообще это долгая история. В девятнадцатом веке говорили «флюид». Потом это стало неприличным. Когда в моду вошло электричество, стали говорить «электролит», или просто «электро». Затем это слово тоже стало казаться грубым, и начали говорить «препарат». Потом, в девяностых, стали говорить «раствор». А теперь вот «красная жидкость»... Полный маразм, конечно. Но против течения не пойдешь.

Он посмотрел на часы.

– Еще вопросы?

– Скажите, – спросил я, – а что это за чулан с вешалкой?

– Это не чулан, – ответил Энлиль Маратович. – Это хамлет.

– Хамлет? – переспросил я. – Из Шекспира?

– Нет, – сказал Энлиль Маратович. – Это от английского «hamlet», крохотный хуторок без церкви. Так сказать, безблагодатное убежище. Хамлет – это наше все. Он связан с немного постыдным и очень, очень застораживающим аспектом нашей жизни. Но об этом ты узнаешь позже.

Он встал с кресла.

– А теперь мне действительно пора.

Я проводил его до порога.

Повернувшись в дверях, он церемонно поклонился, посмотрел мне в глаза и сказал:

– Мы рады, что ты снова с нами.

– До свидания, – пролепетал я.

Дверь за ним закрылась.

Я понял, что его последняя фраза была адресована не мне. Она была адресована языку.

Бальдр

Мазь, которую оставил Энлиль Маратович, подействовала неправдоподобно быстро – на следующее утро синяки под моими глазами исчезли, словно я смыл с лица грим. Теперь, если не считать двух отсутствующих зубов, я выглядел в точности как раньше, отчего мое настроение сильно улучшилось. Зубы тоже росли – мне все время хотелось почесать их. Кроме того, я перестал сипеть – мой голос звучал как прежде. Приняв положенное количество кальция, я решил позвонить матери.

Она спросила, где я пропадаю. Это была ее любимая шутка, означавшая, что она попиывает коньячок и находится в благодушном настроении – вслед за этим вопросом всегда следовал другой, «а ты понимаешь, что рано или поздно ты действительно пропадешь?».

Дав ей возможность задать его, я наврал про встречу одноклассников и дачу без телефона, а потом сказал, что буду теперь жить на съемной квартире и скоро заеду домой за вещами. Мать сухо предупредила, что наркоманы не живут дольше тридцати лет, и повесила трубку. Семейный вопрос был улажен.

Затем позвонил Митра.

– Спишь? – спросил он.

– Нет, – ответил я, – уже встал.

– Энлилю Маратовичу ты понравился, – сообщил Митра. – Так что первый экзамен, можно считать, ты сдал.

– Он говорил, что сегодня придут какие-то учителя.

– Правильно. Учись и ни о чем не думай. Стать вампиром можно только тогда, когда всосешь все лучшее, что выработано мыслящим человечеством...

Как только я положил трубку, раздался звонок в дверь. Выглянув в глазок, я увидел двух человек в черном. В руках у них были темные акушерские саквояжи.

– Кто там? – спросил я.

– Бальдр, – сказал один голос, густой и низкий.

– Игова, – добавил другой, потоньше и повыше.

Я открыл дверь.

Стоявшие на пороге напомнили мне пожилых отставников откуда-нибудь из ГРУ – румяных спортивных мужиков, которые ездят на приличных иномарках, имеют хорошие квартиры в спальных районах и собираются иной раз на подмосковной даче бухнуть и забить «козла». Впрочем, нечто в блеске их глаз заставило меня понять, что этот простецкий вид – просто камуфляж.

В этой паре была одна странность, которую я ощутил сразу же. Но в чем именно она состоит, я понял только тогда, когда Бальдр и Игова стали приходить поодиночке. Они были одновременно и похожи друг на друга, и нет. Когда я видел их вместе, между ними было мало общего. Но, встречая их по отдельности, я нередко путал их, хотя они были разного роста и не особо схожи лицом.

Бальдр был учителем гламура. Игова – учителем дискурса. Полный курс этих предметов занимал три недели. По объему усваиваемой информации он равнялся университетскому образованию с последующей магистратурой и получением степени Ph.D.

Надо признаться, что в то время я был бойким, но невежественным юношей и неверно понимал смысл многих слов. Я часто слышал термины «гламур» и «дискурс», но представлял их значение смутно: считал, что «дискурс» – это что-то умное и непонятное, а «гламур» – что-то шикарное и дорогое. Еще эти слова казались мне похожими на названия тюремных карточных игр. Как выяснилось, последнее было довольно близко к истине.

Когда процедура знакомства была завершена, Бальдр сказал:

– Гламур и дискурс – это два главных искусства, в которых должен совершенствоваться вампир. Их сущностью является маскировка и контроль – и, как следствие, власть. Умеешь ли ты маскироваться и контролировать? Умеешь ли ты властвовать?

Я отрицательно покачал головой.

– Мы тебя научим.

Бальдр и Игова устроились на стульях по углам кабинета. Мне велели сесть на красный диван. Это был тот самый диван, на котором застрелился Брама; такое начало показалось мне жутковатым.

– Сегодня мы будем учить тебя одновременно, – начал Игова. – И знаешь почему?

– Потому что гламур и дискурс – на самом деле одно и то же, – продолжил Бальдр.

– Да, – согласился Игова. – Это два столпа современной культуры, которые смыкаются в арку высоко над нашими головами.

Они замолчали, ожидая моей реакции.

– Мне не очень понятно, о чем вы говорите, – честно сказал я. – Как это одно и то же, если слова разные?

– Они разные только на первый взгляд, – сказал Игова. – «Glamour» происходит от шотландского слова, обозначавшего колдовство. Оно произошло от «grammar», а «grammar», в свою очередь, восходит к слову «grammatica». Им в средние века обозначали разные проявления учености, в том числе оккультные практики, которые ассоциировались с грамотностью. Это ведь почти то же самое, что «дискурс».

Мне стало интересно.

– А от чего тогда происходит слово «дискурс»?

– В средневековой латыни был термин «discursus» – «бег туда-сюда», «бегство вперед-назад». Если отслеживать происхождение совсем точно, то от глагола «discurrere». «Currere» означает «бежать», «dis» – отрицательная частица. Дискурс – это *запрещение бегства*.

– Бегства откуда?

– Если ты хочешь это понять, – сказал Бальдр, – давай начнем по-порядку.

Он наклонился к своему саквою и достал какой-то глянцевого журнала. Раскрыв его на середине, он повернул разворот ко мне.

– Все, что ты видишь на фотографиях – это гламур. А столбики из букв, которые между фотографиями – это дискурс. Понял?

Я кивнул.

– Можно сформулировать иначе, – сказал Бальдр. – Все, что человек говорит – это дискурс...

– А то, как он при этом выглядит – это гламур, – добавил Игова.

– Но это объяснение годится только в качестве отправной точки... – сказал Бальдр.

– ...потому что в действительности значение этих понятий намного шире, – закончил Игова.

Мне стало казаться, что я сижу перед стереосистемой, у которой вместо динамиков – два молодцеватых упыря в черном. А слушал я определенно что-то *психоделическое*, из шестидесятых – тогда первопроходцы рока любили пилить звук надвое, чтобы потребитель ощущал стереоэффект в полном объеме.

– Гламур – это секс, выраженный через деньги, – сказал левый динамик. – Или, если угодно, деньги, выраженные через секс.

– А дискурс, – отозвался правый динамик, – это сублимация гламура. Знаешь, что такое сублимация?

Я отрицательно покачал головой.

– Тогда, – продолжал левый динамик, – скажем так: дискурс – это секс, которого не хватает, выраженный через деньги, которых нет.

– В предельном случае секс может быть выведен за скобки гламурного уравнения, – сказал правый динамик. – Деньги, выраженные через секс, можно представить как деньги, выраженные через секс, выраженный через деньги, то есть деньги, выраженные через деньги. То же самое относится и к дискурсу, только с поправкой на мнимость.

– Дискурс – это мерцающая игра бессодержательных смыслов, которые получают из гламура при его долгом томлении на огне черной зависти, – сказал левый динамик.

– А гламур, – сказал правый, – это переливающаяся игра беспредметных образов, которые получают из дискурса при его выпаривании на огне сексуального возбуждения.

– Гламур и дискурс соотносятся как инь и ян, – сказал левый.

– Дискурс обрамляет гламур и служит для него чем-то вроде изысканного футляра, – пояснил правый.

– А гламур вдыхает в дискурс жизненную силу и не дает ему усохнуть, – добавил левый.

– Думай об этом так, – сказал правый, – гламур – это дискурс тела...

– А дискурс, – отозвался левый, – это гламур духа.

– На стыке этих понятий возникает вся современная культура, – сказал правый.

– ...которая является диалектическим единством гламурного дискурса и дискурсивного гламура, – закончил левый.

Бальдр с Иеговой произносили «гламура́» и «дискурса́» с ударением на последнем «а», как старые волки-эксплуатационники, которые говорят, например, «мазута́» вместо «мазу́та». Это сразу вызывало доверие к их знаниям и уважение к их опыту. Впрочем, несмотря на доверие и уважение, я вскоре уснул.

Меня не стали будить. Во сне, как мне объяснили потом, материал усваивается в четыре раза быстрее, потому что блокируются побочные ментальные процессы. Когда я проснулся, прошло несколько часов. Иегова и Бальдр выглядели усталыми, но довольными. Я совершенно не помнил, что происходило все это время.

Последующие уроки, однако, были совсем другими.

Мы почти не говорили – только изредка учителя диктовали мне то, что следовало записать. В начале каждого занятия они выкладывали на стол одинаковые пластмассовые рейки, по виду напоминающие оборудование из лаборатории для тестирования ДНК. В рейках стояли короткие пробирки с резиновыми пробками. В каждой пробирке было чуть-чуть прозрачной жидкости, а на длинную черную пробку была наклеена бумажка с надписью или номером.

Это были препараты.

Технология моего обучения была простой. Я ронял в рот две-три капли из каждой пробирки и запивал их прозрачной горьковатой жидкостью, которая называлась «закрепителем». В результате в моей памяти вспыхивали целые массивы неизвестных мне прежде сведений – словно осмысленное северное сияние или огни информационного салюта. Это походило на мою первую дегустацию; разница была в том, что знания оставались в памяти и после того, как действие препарата проходило. Это происходило благодаря закрепителю – сложному веществу, влиявшему на химию мозга. При длительном приеме он вредил здоровью, поэтому обучение должно было быть максимально коротким.

Препараты, которые я дегустировал, были коктейлями – сложными составами из красной жидкости множества людей, чьи тени в моем восприятии наслаивались друг на друга, образуя призрачный хор, поющий на заданную тему. Вместе со знаниями я загружался и деталями их личной жизни, часто неприятными и скучными. Никакого интереса к открывавшимся мне секретам я не испытывал, скорее наоборот.

Нельзя сказать, что я усваивал содержащиеся в препаратах знания так же, как нормальный студент усваивает главу из учебника или лекцию. Источник, из которого я питался, похо-

дил на бесконечную телепрограмму, где учебные материалы сливались с бытовыми сериалами, семейными фотоальбомами и убогим любительским порно. С другой стороны, если разобраться, любой студент усваивает полезную информацию примерно с таким же гарниром – так что мое обучение можно было считать вполне полноценным.

Сама по себе проглоченная информация не делала меня умнее. Но когда я начинал думать о чем-то, новые сведения неожиданно выныривали из памяти, и ход моих мыслей менялся, приводя меня в такие места, которых я и представить себе не мог за день до этого. Лучше всего подобный опыт передают слова советской песни, которую я слышал на заре своих дней (мама шутила, что это про книгу воспоминаний Брежнева «Малая Земля»):

Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю, –
Что-то с памятью моей стало,
Все, что было не со мной, помню...

Сначала происходящее казалось мне жутким. Знакомые с детства понятия расцветали новыми смыслами, о которых я раньше не знал или не задумывался. Это происходило внезапно и напоминало те цепные реакции в сознании, когда случайное впечатление воскрешает в памяти забытый ночной сон, который сразу придает всему вокруг особое значение. Я уже знал, что примерно так же выглядят симптомы шизофрении. Но мир с каждым днем делался интереснее, и вскоре я перестал бояться. А потом начал получать от происходящего удовольствие.

К примеру, проезжая в такси по Варшавскому шоссе, я поднимал глаза и видел на стене дома двух медведей под надписью «Единая Россия». Вдруг я вспоминал, что «медведь» – не настоящее имя изображенного животного, а слово-заместитель, означающее «тот, кто ест мед». Древние славяне называли его так потому, что боялись случайно пригласить медведя в гости, произнеся настоящее имя. А что это за настоящее имя, спрашивал я себя, и тут же вспоминал слово «берлога» – место, где лежит... Ну да, бер. Почти так же, как говорят менее суеверные англичане и немцы – «bear», «bär». Память мгновенно увязывала существительное с нужным глаголом: бер – тот, кто берет... Все происходило так быстро, что в момент, когда истина ослепительно просверкивала сквозь эмблему победившей бюрократии, такси все еще приближалось к стене с медведями. Я начинал смеяться; водитель, решив, что меня развеселила играющая по радио песня, тянул руку к приемнику, чтобы увеличить громкость...

Главной проблемой, которая возникала поначалу, была потеря ориентации среди слов. Пока память не приводила фокусировку в порядок, я мог самым смешным образом заблуждаться насчет их смысла. Синоптик становился для меня составителем синопсисов, ксенофоб – ненавистником Ксении Собчак, патриарх – патриотическим олигархом. Примадонна превращалась в барственную даму, пропахшую сигаретами «Прима», а *enfant terrible* – в ребенка, склонного терзать половые органы. Но самое глубокое из моих прозрений было следующим – я истолковал «Петро-» не как имя Петра Первого, а как указание на связь с нефтяным бизнесом, от слова *petrol*. По этой трактовке слово «петродворец» подходило к любому шикарному нефтяному офису, а известная строка времен первой мировой «наш Петербург стал Петроградом в незабываемый тот час» была гениальной догадкой поэта о последствиях питерского саммита G8.

Эта смысловая путаница распространялась даже на иностранные слова: например, я думал, что Gore Vidal – это не настоящее имя американского писателя, а горьковско-бездомный псевдоним, записанный латиницей: Горе Видал, Лука Поел... То же случилось и с выражением «gay pride». Я помнил, что прайд называется нечто вроде социальной ячейки у львов, и до того как это слово засветилось в моей памяти своим основным смыслом – «гордость», я успел представить себе прайд гомосексуалистов (видимо, беженцев с гомофобных окраин

Европы) в африканской саванне: два вислоусых самца лежали в выгоревшей траве возле сухого дерева, оглядывая простор и поигрывая буграми мышц; самец помоложе качал трицепс в тени баобаба, а вокруг него крутилось несколько совсем еще юных щенят – они мешали, сустились, пищали, и время от времени старший товарищ отпугивал их тихим рыком...

В общем, избыток информации создавал проблемы, очень похожие на те, которые вызывало невежество. Но даже очевидные ошибки иногда вели к интересным догадкам. Вот одна из первых записей в моей учебной тетради:

«Слово „западло“ состоит из слова „Запад“ и формообразующего суффикса „ло“, который образует существительные вроде „бухло“ и „фуфло“. Не рано ли призывать склонный к такому словообразованию народ под знамена демократии и прогресса?»

Я развивался быстро и без особых усилий, но одновременно терял свою внутреннюю незаполненность. Иегова предупредил, что эти занятия сделают меня старше, так как реальный возраст человека – это объем пережитого. Воруя чужой опыт, я платил за него своей неопытностью, которая и есть юность. Но в те дни происходящее не вызывало у меня сожалений, потому что запасы этой валюты казались мне безграничными. Расставаясь с ней, я чувствовал себя так, словно я сбрасываю балласт, и невидимый воздушный шар поднимает меня в небо.

Обучение дискурсу, по заверениям Бальдра и Иеговы, должно было раскрыть передо мной тайную суть современной общественной мысли. Важное место в программе занимали вопросы, связанные с человеческой моралью, с понятиями о добре и зле. Но мы подходили к ним не снаружи, через изучение того, что люди говорят и пишут, а изнутри, через интимное знакомство с тем, что они думают и чувствуют. Это, конечно, сильно пошатнуло мою веру в человечество.

Глядя на разные человеческие умы, я заметил одну интересную общую особенность. В каждом человеке была своего рода нравственная инстанция, к которой ум честно обращался каждый раз, когда человеку следовало принять сомнительное решение. Эта моральная инстанция давала регулярные сбои – и я понял, почему. Вот что я записал по этому поводу:

«Люди издавна верили, что в мире торжествует зло, а добро вознаграждается после смерти. Получалось своего рода уравнение, связывавшее землю и небо. В наше время уравнение превратилось в неравенство. Небесное вознаграждение кажется сегодня явным абсурдом. Но торжества зла в земном мире никто не отменял. Поэтому любой нормальный человек, ищущий на земле позитива, естественным образом встает на сторону зла: это так же логично, как вступить в единственную правящую партию. Зло, на сторону которого встает человек, находится у него в голове, и нигде кроме. Но когда все люди тайно встанут на сторону зла, которого нет нигде, кроме как у них в голове, нужна ли злу другая победа?»

Понятие о добре и зле упиралось в религию. А то, что я узнал на уроках религии («локального культа», как выражался Иегова), искренне меня поразило. Как следовало из препаратов рейки «Гнозис+», когда христианство только-только возникло, бог ветхого завета считался в новом учении дьяволом. А потом, в первых веках нашей эры, в целях укрепления римской державности и политкорректности, бога и дьявола объединили в один молитвенный объект, которому должен был поклоняться православный патриот времен заката империи. Исходные тексты были отсортированы, переписаны и тщательно отредактированы в новом духе, а все остальное, как водится, сожгли.

Вот что я записал в тетрадке:

*«Каждый народ (или даже человек) в обязательном порядке должен разрабатывать свою религию сам, а не донашивать тряпье, кишащее чужими вилами – от них все болезни... Народы, которые в наше время на подъеме – Индия, Китай и так далее – ввозят только технологии и капитал, а религии у них местного производства. Любой член этих обществ может быть уверен, что молится своим собственным тараканам, а не позднейшим вставкам, ошибкам переписчика или неточностям перевода. А у нас... Сделать фундаментом национального мировоззрения набор текстов, писанных непонятно кем, непонятно где и непонятно когда – это все равно что установить на стратегический компьютер пиратскую версию „виндоуз-95“ на турецком языке – без возможности апгрейда, с дырами в защите, червями и вирусами, да еще с перекоцанной неизвестным умельцем динамической библиотекой *.dll, из-за чего система виснет каждые две минуты. Людям нужна открытая архитектура духа, open source. Но иудеохристиане очень хитры. Получается, любой, кто предложит людям такую архитектуру – это антихрист. Нагадить в далеком будущем из поддельной задницы, оставшейся в далеком прошлом – вот, пожалуй, самое впечатляющее из чудес иудеохристианства».*

Конечно, некоторые из этих сентенций могут показаться слишком самоуверенными для начинающего вампира. В свою защиту могу сказать только то, что подобные понятия и идеи всегда значили для меня крайне мало.

Дискурс я осваивал легко и быстро, хотя он и настраивал меня на мизантропический лад. Но с гламуром у меня с самого начала возникли сложности. Я понимал почти все до того момента, когда Бальдр сказал:

– Некоторые эксперты утверждают, что в современном обществе нет идеологии, поскольку она не сформулирована явным образом. Но это заблуждение. Идеологией анонимной диктатуры является гламур.

Меня внезапно охватило какое-то мертвенное отупение.

– А что тогда является гламуром анонимной диктатуры?

– Рама, – недовольно сказал Бальдр, – мы же с этого начинали первый урок. Гламуром анонимной диктатуры является ее дискурс.

На словах у Бальдра с Иговой все выходило гладко, но мне трудно было понять, как это фотки полуголых теток с брильянтами на силиконовых сисях могут быть идеологией режима.

К счастью, был эффективный метод прояснять вопросы такого рода. Если я не понимал чего-то, что говорил Бальдр, я спрашивал об этом на следующем уроке Игову, и получал альтернативное объяснение. А если что-то было неясно в объяснении Иговы, я спрашивал Бальдра. В итоге я двигался вверх, словно альпинист, враспор упирающийся ногами в стены расщелины.

– Почему Бальдр говорит, что гламур – это идеология? – спросил я у Иговы.

– Идеология – это описание невидимой цели, которая оправдывает видимые средства, – ответил тот. – Гламур можно считать идеологией, поскольку это ответ на вопрос «во имя чего все это было».

– Что – «все это»?

– Возьми учебник истории и перечитай оглавление.

Я к тому времени проглотил уже достаточно концепций и терминов, чтобы продолжить разговор на достойном уровне.

– А как тогда сформулировать центральную идеологию гламура?

– Очень просто, – сказал Игова. – Переодевание.

– Переодевание?

– Только понимать его надо широко. Переодевание включает переезд с Каширки на Рублевку и с Рублевки в Лондон, пересадку кожи с ягодиц на лицо, перемену пола и все такое прочее. Весь современный дискурс тоже сводится к переодеванию – или новой упаковке тех нескольких тем, которые разрешены для публичного обсуждения. Поэтому мы говорим, что дискурс есть разновидность гламура, а гламур есть разновидность дискурса. Понял?

– Как-то не слишком романтично, – сказал я.

– А чего ты ждал?

– Мне кажется, гламур обещает чудо. Вы ведь сами говорили, что по первоначальному смыслу это слово значит «колдовство». Разве не за это его ценят?

– Верно, гламур обещает чудо, – сказал Игова. – Но это обещание чуда маскирует полное отсутствие чудесного в жизни. Переодевание и маскировка – не только технология, но и единственное реальное содержание гламура. И дискурса тоже.

– Выходит, гламур не может привести к чуду ни при каких обстоятельствах?

Игова немного подумал.

– Вообще-то может.

– Где?

– Например, в литературе.

Это показалось мне странным – литература была самой далекой от гламура областью, какую я только мог представить. Да и чудес там, насколько я знал, не случалось уже много лет.

– Современный писатель, – объяснил Игова, – заканчивая роман, проводит несколько дней над подшивкой глянцевого журналов, перенося в текст названия дорогих машин, галстуков и ресторанов – и в результате его текст приобретает некое отраженное подобие высокобюджетности.

Я пересказал этот разговор Бальдру и спросил:

– Игова говорит, что это пример гламурного чуда. Но что здесь чудесного? Это ведь обычная маскировка.

– Ты не понял, – ответил Бальдр. – Чудо происходит не с текстом, а с писателем. Вместо инженера человеческих душ мы получаем бесплатного рекламного агента.

Методом двойного вопрошания можно было разобраться почти с любым вопросом. Правда, иногда он приводил к еще большей путанице. Один раз я попросил Игову объяснить смысл слова «экспертиза», которое я каждый день встречал в интернете, читая про какое-то «экспертное сообщество».

– Экспертиза есть нейролингвистическое программирование на службе анонимной диктатуры, – отчеканил Игова.

– Ну-ну, – пробурчал Бальдр, когда я обратился к нему за комментарием. – Звонко сказано. Только в реальной жизни не очень понятно, кто кому служит – экспертиза диктатуре или диктатура экспертизе.

– Это как?

– Диктатура, хоть и анонимная, платит конкретные деньги. А единственный реальный результат, который дает нейролингвистическое программирование – это зарплата ведущего курсы нейролингвистического программирования.

На следующий день я горько пожалел, что задал вопрос про «экспертизу»: Игова принес на урок целую рейку с названием «эксперт. сообщ. № 1-18». Пришлось глотать все препараты. Вот что я записал в перерыве между дегустациями:

«Любой современный интеллигент, продающий на рынке свою „экспертизу“, делает две вещи: посылает знаки и прототипирует смыслы. На деле это аспекты одного волевого акта, кроме которого в деятельности современного философа, культуролога и эксперта нет ничего:

посылаемые знаки сообщают о готовности протитутитировать смыслы, а протитутитирование смыслов является способом посылать эти знаки. Интеллектуал нового поколения часто даже не знает своего будущего заказчика. Он подобен растущему на панели цветку, корни которого питаются неведомыми соками, а пыльца улетает за край монитора. Отличие в том, что цветок ни о чем не думает, а интеллектуал нового поколения полагает, что соки поступают к нему в обмен на пыльцу, и ведет сложные шизофренические калькуляции, которые должны определить их правильный взаимозачет. Эти калькуляции и являются подлинными корнями дискурса – мохнатыми, серыми и влажными, лежащими в зловонии и тьме».

Прошло всего несколько дней, а я уже знал слово «культуролог». Правда, его я тоже понимал неправильно – это, думал я, уролог, который так подробно изучил мочеполовую систему человека, что добился культового статуса и получил право высказываться по духовным вопросам. Это не казалось мне странным – ведь смог же академик Сахаров, придумавший водородную бомбу, стать гуманитарным авторитетом.

Словом, в голове у меня была полная каша. Но я не видел в этом трагедии – ведь раньше там не было ничего вообще.

Вскоре дела с гламуром пошли совсем кисло (примерно так же обстояло у меня в школе с органической химией). Иногда я казался себе настоящим тупицей. Например, до меня долго не доходило, что такое «вампосексуал» – а это было ключевое понятие курса. Бальдр посоветовал мне понимать его по аналогии со словом «метросексуал» – и я пережил легкое потрясение, когда выяснилось, что это вовсе не человек, любящий секс в метро.

Бальдр объяснил смысл слова «метросексуал» так:

– Это персонаж, который одет как пидор, но на самом деле не пидор. То есть, может и пидор, но совсем не обязательно...

Это было несколько путано, и я обратился к Игове за разъяснениями.

– Метросексуальность, – сказал Игова, – просто очередная упаковка «conspicuous consumption».

– Чего-чего? – переспросил я, и тут же вспомнил информацию из недавно проглоченного препарата. – А, знаю. Потребление напоказ. Термин введен Торстоном Вебленом в начале прошлого века...

Дождавшись урока гламура, я повторил это Бальдру.

– Чего Игова тебе мозги пудрит, – пробормотал тот недовольно. – «Conspicuous consumption». Это на Западе конспикьюос консампшн. А у нас все надо называть по-русски. Я уже объяснил тебе, кто такой метросексуал.

– Я помню, – сказал я. – А зачем метросексуал наряжается как пидор?

– Как зачем? Чтобы сигнализировать окружающим, что рядом с ним проходит труба с баблом.

– А что тогда такое вампосексуал?

– То, чем ты должен стать, – ответил Бальдр. – Четкой дефиниции здесь нет, все держится на ощущении.

– А почему я должен им стать?

– Чтобы успеть за пульсом времени.

– А если выяснится, что на самом деле пульс времени не такой?

– Какой пульс времени на самом деле, – ответил Бальдр, – никто знать не может, потому что пульса у времени нет. Есть только редакторские колонки про пульс времени. Но если несколько таких колонок скажут, что пульс времени такой-то и такой-то, все начнут это повторять, чтобы идти со временем в ногу. Хотя ног у времени тоже нет.

– Разве нормальный человек верит тому, что пишут в редакторских колонках?

– А где ты видел нормальных людей? Их, может быть, человек сто в стране осталось, и все у ФСБ под колпаком. Все не так просто. С одной стороны, ни пульса, ни ног у времени нет. Но, с другой стороны, все стараются держать руку на пульсе времени и идти с ним в ногу, поэтому корпоративная модель мира регулярно обновляется. В результате люди отпускают прикольные бородки и надевают шелковые галстуки, чтобы их не выгнали из офиса, а вампирам приходится участвовать в этом процессе, чтобы слиться со средой.

– И все-таки я не понимаю, что такое вампосексуал, – признался я.

Бальдр поднял со стола пробирку, оставшуюся после урока дискурса (на пробке была наклейка *«немецкая классическая философия, розл. Филф. МГУ»*), и *стряхнул себе в рот оставшуюся в ней прозрачную каплю*. Пожевав губами, он нахмурился и спросил:

– Помнишь одиннадцатый «Тезис о Фейербахе»?

– Чей? – спросил я.

– Как чей. Карла Маркса.

Я напряг память.

– Сейчас... «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

– Вот именно. Твоя задача не в том, чтобы понять, что такое вампосексуал, Рама. Твоя задача стать им.

Бальдр, конечно, был прав – теория в этой области значила мало. Но курс гламура не сводился к теории. Мне были выданы «подъемные» – тяжелый блок запаянных в пластик тысячерублевых банкнот и карточка «Виза», на которой была сумасшедшая для меня сумма – сто тысяч долларов. Отчета о расходах от меня не требовалось.

– Практикуйся, – сказал Бальдр. – Кончатся – скажешь.

Думаю, именно после этого я утвердился в мысли, что быть вампиром – серьезное и надежное дело.

Вампиру полагалось одеваться и покупать необходимое в двух местах – в магазине «LovemarX» на площади Восстания и в комплексе «Archetypique boutique» в Пожарском проезде.

Я, кстати, давно обратил внимание на пошлейшую примету нашего времени: привычку давать иностранные имена магазинам, ресторанам и даже написанным по-русски романам, словно желая сказать – мы не такие, мы продвинутые, офшорные, отъевроремонтированные. Это давно уже не вызывало во мне ничего, кроме тошноты. Но названия «LovemarX» и «Archetypique boutique» я видел так часто, что поневоле перестал раздражаться и подверг их анализу.

Из теоретического курса я знал, что словом «lovemarks» в гламуре называют торговые марки, к которым человек прирастает всем сердцем, и видит в них уже не просто внешние по отношению к себе предметы, а скелет своей личности. Видимо, «X» на конце была данью молодежному правописанию – или комсомольским корням (в торговом зале на видном месте стоял мраморный бюст Маркса).

«Архетипик Бутик» оказался целым комплексом бутиков, в котором легко можно было заблудиться. Выбор был больше, чем в «Лавмаркс», но я не любил это место. Ходили слухи, что раньше тут располагалась инспекция Гулага – то ли геодезическое управление, то ли кадровая служба. Узнав об этом, я понял, почему Бальдр и Митра называют эту точку «архипелаг гламур» или просто «архипелаг».

На стенах в «Архетипик Бутик» во множестве висели фотографии дорогих спортивных машин с дурашливыми подписями вроде «тачка № 51», «тачка № 89» и так далее. На товарном чеке присутствовал один из этих номеров, и покупатель, правильно назвавший марку соответствующего автомобиля, получал десятипроцентную скидку.

Я понимал, что это обычный рекламный трюк – покупатель бродит по *архипелагу* в поисках *тачки* и натывается на новые товары, которые можно будет со временем в эту тачку положить. Но все же взаимный магнетизм этих слов казался жутким.

Была еще одна торговая точка, где следовало покупать безделушки вроде дорогих часов и курительных трубок. Она называлась «Height Reason», *бутик для мыслящей элиты* (так заведение позиционировалось в ознакомительной брошюре). По-русски название записывалось одним – и странным – словом «ХайТризон».

Трубки были мне ни к чему – я не курил. А что касалось дорогих часов, то меня навсегда отпугнула от них реклама «Patek Philippe» из той же ознакомительной брошюры. Там было сказано: «You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation»¹.

Из «Криминального Чтива» Тарантино я помнил, как выглядит технология передачи ценных хронометров следующему поколению: в фильме фигурировали часы, которые отец героя сберегал в прямой кишке, сидя в японском лагере. История бизнесмена Ходорковского делала этот сюжет вполне актуальным и в наших автономиях. Кстати сказать, именно с тех пор многочисленные фото Ходорковского за решеткой стали казаться мне рекламой «Патек Филип» – голые запястья держащегося за решетку предпринимателя делали мессидж предельно доходчивым. На мой вкус, хронометр «Патек Филип» был слишком большим. Сам он, может, и пролез бы, но вот металлический браслет...

В общем, войти в мыслящую элиту нашей страны мне не удалось. Разумеется, как и все лузеры, я утешал себя тем, что не захотел этого сам.

¹ Вы никогда по-настоящему не владеете часами «Патек Филип». Вы просто сохраняете их для следующего поколения.

Иегова

Если Бальдр разяснял любой вопрос так конкретно, что не понять его суть было тяжело, то Иегова обладал другим достоинством. Он умел в нескольких словах обозначить целое смысловое поле или сориентировать в сложном лабиринте понятий. Часто он прибегал к неожиданным сравнениям.

– Если ты хочешь понять, что такое человеческая культура, – сказал он однажды, – вспомни про жителей Полинезии. Там есть племена, обожествляющие технологию белого человека. Особенно это касается самолетов, которые летают по небу и привозят всякие вкусные и красивые вещи. Такая вера называется «карго-культ». Аборигены строят ритуальные аэродромы, чтобы, так сказать, дожидаться кока-колы с неба...

У меня в голове произошла привычная реакция из серии «все, что было не со мной, помню».

– Нет, – сказал я, – это чепуха. Так аборигены говорили американским антропологам, чтобы быстрее отвяжаться. Антропологи все равно не поверили бы, что у них могут быть другие желания. Духовная суть карго-культулы глубже. Жители Меланезии, где он возник, были так потрясены подвигами камикадзе, что построили для них ритуальные аэродромы, приглашая их души переродиться на архипелаге – на тот случай, если им не хватит места в храме Ясакуни.

– Не слышал, – сказал Иегова, – интересно. Но это ничего не меняет. Аборигены строят не только фальшивые взлетно-посадочные полосы. Еще они делают насыпные самолеты из земли, песка и соломы – наверно, чтобы душам камикадзе было где жить. Эти самолеты бывают очень внушительными. У них может быть по десять двигателей, сделанных из старых ведер и бочек. С художественной точки зрения они могут быть шедеврами. Но земляные самолеты не летают. То же относится к человеческому дискурсу. Вампир ни в коем случае не должен принимать его всерьез.

Я рассказал об этом разговоре Бальдру.

– Выходит, – спросил я, – я тоже учусь строить насыпные самолеты из песка и соломы? Бальдр смерил меня огненным взглядом.

– Не только, – ответил он. – Еще ты учишься наряжаться при этом как пидор. Чтобы все думали, что рядом с твоим земляным самолетом проходит труба с баблом, и ненавидели тебя еще сильнее. Ты забыл, кто ты, Рама? Ты вампир!

Несколько дней я размышлял над словами Иеговы, читая в интернете избранные образцы отечественного дискурса, в том числе и папашины опусы про «плебс» и «вменяемые элиты». Теперь я понимал в них практически все, включая отсылки к другим текстам, намеки и культурные референции. Они бывали остроумны, тонки и хорошо написаны. И все же Иегова был прав: эти самолеты не предназначались для полета. Я встречал в них много умных слов, но все они звенели мертво и нагло, как бусы людоеда, сделанные из заблудившихся европейских монет.

Вот что я записал в своей тетрадке:

«Московский карго-дискурс отличается от полинезийского карго-культулы тем, что вместо манипуляций с обломками чуждой авиатехники использует фокусы с фрагментами заемного жаргона. Терминологический камуфляж в статье „эксперта“ выполняет ту же функцию, что ярко-оранжевый life-jacket с упавшего „Боинга“ на африканском охотнике за головами: это не только разновидность маскировки, но и боевая раскраска. Эстетической проекцией карго-дискурса является карго-

гламур, заставляющий небогатую офисную молодежь отказывать себе в полноценном питании, чтобы купить дорогую бизнес-униформу».

Когда я с гордостью показал эту запись Игове, он повертел пальцем у виска и сказал:

– Рама, ты не понял главного. Ты, похоже, думаешь, что московский карго-дискурс вторичен по отношению к нью-йоркскому или парижскому, и в этом вся проблема. Но все не так. Любая человеческая культура – это карго-культура. И насыпные самолеты одного племени не могут быть лучше насыпных самолетов другого.

– Почему?

– Да потому, что земляные самолеты не поддаются сравнительному анализу. Они не летают, и у них нет никаких технических характеристик, которые можно было бы соотнести. У них есть только одна функция – магическая. А она не зависит от числа ведер под крыльями и их цвета.

– Но если вокруг нас одни лишь насыпные самолеты, что тогда люди копируют? – спросил я. – Ведь для того, чтобы возник карго-культ, нужно, чтобы в небе пролетел хоть один настоящий самолет.

– Этот самолет пролетел не в небе, – ответил Игова. – Он пролетел через человеческий ум. Им была Великая Мышь.

– Вы имеете в виду вампиров?

– Да, – сказал Игова. – Но сейчас эту тему бессмысленно обсуждать. У тебя недостаточно знаний.

– Только один вопрос, – сказал я. – Вы говорите, вся человеческая культура – это карго-культ. А что тогда люди строят вместо земляных самолетов?

– Города.

– Города?

– Да, – ответил Игова, – и все остальное.

Я попытался поговорить с Бальдром, но он тоже отказался обсуждать эту тему.

– Рано, – сказал он. – Не спеши. Усваивать знания нужно в определенной последовательности. То, что мы проходим сегодня, должно становиться фундаментом для того, что ты узнаешь завтра. Нельзя начинать строительство дома с чердака.

Мне оставалось только согласиться.

Еще одним социальным навыком, которым мне следовало овладеть, была «вамподуховность» (иногда Игова говорил «метродуховность», из чего я делал вывод, что это примерно одно и то же). Игова определил ее так – «престижное потребление напоказ в области духа». В практическом плане вамподуховность сводилась к демонстрации доступа к древним духовным традициям в зоне их максимальной закрытости: в реестр входили фотосессии с далай-ламой, документально заверенные знакомства с суфийскими шейхами и латиноамериканскими шаманами, ночные вертолетные визиты на Афон, и так далее.

– Неужели и здесь то же самое? – задал я горький и не вполне понятный вопрос.

– И здесь, и везде, – сказал Игова. – И всегда. Проследи за тем, что происходит во время человеческого общения. Зачем человек открывает рот?

Я пожал плечами.

– Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции.

– Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди, – сказал я с легкой иронией.

Игова кротно посмотрел на меня.

– Рама, – сказал он, – вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я, а мой тип потребления, как сейчас говорят, сосет и причмокивает. Только речь идет о потреблении в сфере общения. Именно об этом движении человеческой души я и говорю. Ничего другого в людях ты не встретишь, как не ищи. Меняться будет только конкретный тип потребления, о котором пойдет речь. Это может быть потребление вещей, впечатлений, культурных объектов, книг, концепций, состояний ума и так далее.

– Отвратительно, – сказал я искренне.

Иегова поднял палец.

– Но презирать человека за это ни в коем случае нельзя, – сказал он. – Запомни как следует, для вампира это так же постыдно, как для человека – смеяться над коровой из-за того, что у нее между ног болтается уродливое жирное вымя. Мы вывели людей, Рама. Поэтому мы должны любить и жалеть их. Такими, какие они есть. Кроме нас, их не пожалеет никто.

– Хорошо, – сказал я. – А что надо делать, когда кто-нибудь из них вынимает свою фотографию с далай-ламой?

– Надо показать в ответ фотографию, где ты стоишь рядом с Христом, Буддой и Магометом... Впрочем, разумнее, если Магомета не будет. Достаточно стрелки, указывающей на край снимка, возле которой будет написано «там Магомет»...

Мы часто употребляли слово «духовность», и мне, в конце концов, стало интересно, в чем же его смысл. Изучив эту тему методом случайных дегустаций, я обобщил наблюдения в следующей записи:

«Духовность» русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являются не материальные блага, а понты. «Бездуховность» – это неумение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом и деньгами, поэтому нет никого бездуховнее (т.е. беспонтовее) младшего менеджера.

Курс гламура был велик по объему, но почти не запоминался на сознательном уровне. В нем было много дегустаций – мне пришлось перепробовать невероятное количество нелепых образцов, каждый из которых добавлял новую гирьку в мешок жизненного опыта, разбухавший за моими плечами. До сих пор не пойму, как я мог глотать такое:

«падлочка \$%»

«blow аю-ю»

«cavalli № 3»

«офть!»

«пля маша ц.»

«чичики»

Но рейды в мутную мглу чужих душ были не напрасны. Я все четче осознавал происходящее вокруг. Натыкаясь на репортаж о сезоне променад-концертов в Архангельском или на статью о втором фестивале подмосковных яхт на озере Гадючья Мгла, я уже не робел от сознания своего убожества, а понимал, что по мне ведут огонь идеологические работники режима, новые автоматчики партии, пришедшие на смену политрукам и ансамблям народного танца.

То же относилось и к дискурсу. Я начинал догадываться, что схватка двух интеллектуалов, где один выступает цепным псом режима, а другой бесстрашно атакует его со всех возможных направлений – это не идеологическая битва, а дуэт губной гармошки и концертино, бэк-граунд, который должен выгоднее оттенить реальную идеологию, сияющую из гадючей мглы.

– Если гламур – это идеология режима, – сказал Иегова, – то важнейшими из искусств для нас являются пиар, джиар, биар и фиар. А если попросту, реклама.

«Джиар», кажется, означал «government relations». Что такое «биар» и «фиар», я не знал, но поленился спросить.

Рекламе было посвящено два урока. Мы изучали не человеческие теории на этот счет (Иегова назвал их шарлатанством), а только самую центральную технологию, равно относящуюся к торговле, политике и информации. Иегова определял ее так: нигде не прибегая к прямой лжи, создать из фрагментов правды картину, которая связана с реальностью ровно настолько, насколько это способно поднять продажи. Это звучало просто, но было одно важное уточнение: если связь с реальностью не могла поднять продажи (а она, как правило, не могла), связаться следовало с чем-нибудь другим. Именно сквозь это игольное ушко и шли все караваны.

Среди примеров, иллюстрировавших эту идею, был, например, следующий лингвогеометрический объект:

Об этом не говорят.
Такое не забывают.
Вот – корень всего.
Источник, из которого вышли мы все – и ты, и те, кого ты пока что считаешь «другими».
Не где-то там, в Гималаях – а прямо в тебе.
Реально и осязаемо.
Надежно и всерьез.
Это по-настоящему.

Пояснение было следующим:

«Пр.3. Нетрадиционное позиционирование анально-фаллической пенетрации с привлечением контекстов, ортогональных стандартному дискурсу сабжа».

– А почему крест? – спросил я Иегову.

Иегова вытряхнул из пробирки на палец капельку прозрачной жидкости, слизнул ее и некоторое время вглядывался в невидимую даль.

– Ты дальше не посмотрел, – сказал он. – «Почему крест?» – это слоган концепции.

Примером применения центральной технологии в политическом бизнесе был проект лоялистского молодежного движения «True Batch Надежды» (служебный рубрикатор «Surkoff_Fedayeen/ built305»). Проект был рассчитан на пробуждение позитивного интереса у англоязычных СМИ и основывался на цитате из позднего Набокова, переводящего раннего Окуджаву:

«Nadezhda I shall then be back
When the true batch outboys the riot...»²

Вопроса «почему трубач?» у меня не возникло. Короткий курс рекламы остался позади, и мы вернулись к общей теории гламура.

Сейчас мне немного смешно вспоминать ту важность, которую я придавал своим тогдашним озарениям, записывая их аккуратным почерком в учебной тетради:

«Потребность в научном коммунизме появляется тогда, когда пропадает вера в то, что коммунизм можно построить, а потребность в гламуре возникает, когда исчезает естественная сексуальная привлекательность».

² «Надежда, я приду тогда, когда правильная шобла перепачнёт беспорядки...» – англ.

Впрочем, после знакомства с линейками «подиумное мясо 05–07» и «шахидки Вельзевула ultimate» (какой-то вампир-женоненавистник обозвал так девушек-моделей) эта мысль подверглась важному уточнению:

«Все не так просто. Что такое естественная сексуальная привлекательность? Когда с близкого расстояния рассматриваешь девушку, которая считается эталоном красоты, видны поры на ее коже, волосы, трещины. В сущности, это просто глупое молодое животное, натертое французским кремом. Ощущение красоты и безобразия рождается, когда отдаляешься от рассматриваемого объекта, и черты лица редуцируются до схематической картинки, которая сравнивается с хранящимися в сознании мультипликационными шаблонами. Откуда берутся эти шаблоны, непонятно – но есть подозрение, что сегодня их поставляет уже не инстинкт размножения, направляемый генетическим кодом, а индустрия гламура. В автоматике такое принудительное управление называется „override“. Итак, гламур так же неисчерпаем, как и дискурс».

Были смешные моменты. Один образец оказался в моей программе дважды под разными номерами. Обозначен он был так:

«куратор худпроектов Rh4»

Красная жидкость принадлежала даме средних лет, действительно похожей на шахидку. Ее включили в свои реестры и Бальдр, и Игова: по их мнению, куратор подвизалась точно посередине между гламуром и дискурсом и была бесценным источником информации. Мне так не показалось. Темой дегустации было изучение внутреннего мира современного художника, но куратор не владела даже профессиональным жаргоном – она лазила за ним в интернет. Зато выяснилась трогательная личная деталь: она испытала оргазм только раз в жизни, когда пьяный любовник обозвал ее лобковой вошью компрадорского капитала.

Я высказал Игове свое недоумение и услышал, что именно это переживание и было целью урока, поскольку полностью раскрывало тему. Я не поверил. Тогда он дал мне попробовать еще трех художников и одного галериста. После чего я сделал в тетради следующую пометку:

«Современный художник – это анальная проститутка с нарисованной жопой и зашитым ртом. А галерист – это человек, который ухитряется состоять при ней сутенером духа несмотря на абсолютную бездуховность происходящего».

Писатели (которых мы тоже проходили в курсе гламура) были немногим лучше – после знакомства с их линейкой я записал в тетради:

«Что самое важное для писателя? Это иметь злобное, омраченное, ревнивое и завистливое эго. Если оно есть, то все остальное приложится».

Различного рода критики, эксперты, сетевые и газетные культурологи (к этому времени я выяснил наконец, что это такое) входили в программу по линии дискурса. Получасовая экскурсия по их вселенной позволила мне сформулировать следующее правило:

«Временный рост мандавошки равен высоте объекта, на который она гадит, плюс 0,2 миллиметра».

Последняя запись в курсе гламуродискурса была такой:

«Наиболее перспективной технологией продвижения гламура на современном этапе становится антигламур. „Разоблачение гламура“

инфильтрует гламур даже в те темные углы, куда он ни за что не проник бы сам».

Не все дегустации имели внятную цель. Бальдр часто заставлял меня заглянуть в другого человека только для того, чтобы я ознакомился с маркой испанской обуви из крокодиловой кожи или линейкой мужских одеколонов из Кельна. Куртуазный английский экономист попал в гламурный реестр как специалист по сортам дорогого кларета, а следом шло знакомство с японским модельером, делающим лучшие в мире галстуки из шелка (как выяснилось, он был сыном повешенного). Естественно, происходящее казалось мне пустой тратой моих сил.

Но вскоре я стал понимать, что целью этих путешествий было не только поглощение информации, но и трансформация всего моего мышления.

Дело в том, что между умственным процессом вампира и человека есть важное отличие. Думая, вампир использует те же ментальные конструкции, что и человек. Но его мысль движется между ними по другому маршруту, который так же отличается от предсказуемого человеческого мышления, как благородная траектория несущейся сквозь сумрак летучей мыши от кругов городского голубя над зимней помойкой.

– Лучшие из людей способны думать почти как вампиры, – сказал Бальдр. – Они называют это гениальностью.

Комментарий Иговы был более сдержанным.

– Насчет гениальности не уверен, – сказал он. – Гениальность не поддается ни анализу, ни объяснению. А здесь все довольно прозрачно. Мышление становится вампирическим тогда, когда количество дегустаций переходит в новое качество ассоциативных связей.

Технически мой мозг уже готов был работать по-новому. Но инерция человеческой природы брала свое. Я не схватывал многих вещей, которые были очевидны для моих менторов. То, что казалось им логическим мостом, часто было для меня смысловой пропастью.

– У гламура есть два главных аспекта, – сказал на одном из уроков Игова. – Во-первых, это жгучий, невероятно мучительный стыд за нищее убожество своего быта и телесное безобразие. Во-вторых, это мстительное злорадство при виде нищеты и убожества, которые не удалось скрыть другому человеку...

– Как же так? – изумился я. – Ведь гламур – это секс, выраженный через деньги. В любом случае, что-то привлекательное. Где оно тут?

– Ты думаешь как человек, – сказал Игова. – Ну-ка скажи мне сам, где оно тут?

Я задумался. Но ничего не пришло мне в голову.

– Не знаю, – сказал я.

– Ничего не бывает убогим или безобразным само по себе. Нужна точка соотнесения. Чтобы девушка поняла, что она нищая уродина, ей надо открыть гламурный журнал, где ей предъявят супербогатую красавицу. Тогда ей будет с чем себя сравнить.

– А зачем это нужно девушке?

– Ну-ка, объясни сам, – сказал Игова.

Я задумался.

– Это нужно... – и вдруг вампирическая логика правильного ответа стала мне очевидной, – это нужно, чтобы те, кого гламурные журналы превращают в нищих уродов, и дальше финансировали их из своих скудных средств!

– Правильно, молодец. Но это не главное. Ты говоришь про финансирование гламура, а в чем его цель?

– Гламур движет вперед экономику, потому что его жертвы начинают воровать деньги? – выпалил я наугад.

– Это слишком человеческая логика. Ты же не экономист, Рама, ты вампир. Сосредоточься.

Я молчал – ничего не приходило в голову. Подождав с минуту, Игова сказал:

– Цель гламура именно в том, чтобы жизнь человека проходила в облаке позора и презрения к себе. Это состояние, которое называют «первородный грех» – прямой результат потребления образов красоты, успеха и интеллектуального блеска. Гламур и дискурс погружают своих потребителей в убожество, идиотизм и нищету. Эти качества, конечно, относительно. Но страдать они заставляют по-настоящему. В этом переживании позора и убожества проходит вся человеческая жизнь.

– А зачем нужен первородный грех?

– Для того, чтобы поставить человеческое мышление в жесткие рамки и скрыть от человека его истинное место в симфонии людей и вампиров.

Я догадывался, что слово «симфония» в этом контексте означает что-то вроде симбиоза. Но все равно мне представился огромный оркестр, где за пультом дирижера стоит Иегова – в черном сюртуке, с вымазанным в крови ртом... Подумав, я сказал:

– Хорошо. Я могу понять, почему гламур – это маскировка. Но почему мы говорим то же самое про дискурс?

Иегова закрыл глаза и стал чем-то похож на учителя джедаев Йоду.

– В средние века никто не думал об Америке, – сказал он. – Ее не надо было маскировать, просто потому что никому не приходило в голову ее искать. Это и есть лучшая маскировка. Если мы хотим скрыть от людей некий объект, достаточно сделать так, чтобы о нем никто никогда не думал. Для этого надо держать под надзором человеческое мышление, то есть контролировать дискурс. А власть над дискурсом принадлежит тому, кто задает его границы. Когда границы установлены, за их пределами можно спрятать целый мир. Именно в нем ты сейчас и находишься. Согласись, что мир вампиров неплохо замаскирован.

Я кивнул.

– Кроме того, – продолжал Иегова, – дискурс – это еще и магическая маскировка. Вот пример. В мире много зла. Никто из людей не станет с этим спорить, верно?

– Верно.

– Но о том, что именно является источником зла, каждый день спорят все газеты. Это одна из самых поразительных вещей на свете, поскольку человек способен понимать природу зла без объяснений, просто инстинктом. Сделать так, чтобы она стала непонятна – серьезный магический акт.

– Да, – сказал я грустно. – Это похоже на правду.

– Дискурс служит чем-то вроде колючей проволоки с пропущенным сквозь нее током – только не для человеческого тела, а для человеческого ума. Он отделяет территорию, на которую нельзя попасть, от территории, с которой нельзя уйти.

– А что такое территория, с которой нельзя уйти?

– Как что? Это и есть гламур! Открой любой глянцевого журнал и посмотри. В центре гламур, а по краям дискурс. Или наоборот – в центре дискурс, а по краям гламур. Гламур всегда окружен или дискурсом, или пустотой, и бежать человеку некуда. В пустоте ему нечего делать, а сквозь дискурс не продаться. Остается одно – топтать гламур.

– А зачем это надо?

– У гламура есть еще одна функция, о которой мы пока не говорили, – ответил Иегова. – Она и является самой важной для вампиров. Но сейчас ее рано обсуждать. О ней ты узнаешь после великого грехопадения.

– А когда оно произойдет?

Иегова ответил на этот вопрос молчанием.

Вот так, глоток за глотком и шаг за шагом, я превращался в культурно продвинутого метросексуала, готового нырнуть в самое сердце тьмы.

Картотека

Из моих слов может показаться, что я стал вампиром безо всякой внутренней борьбы. Это неправда.

В первые дни я чувствовал себя так, словно мне сделали тяжелую операцию на мозге. По ночам мне снились кошмары. Я тонул в бездонном черном болоте, окруженном кольцом каменных глыб, или сгорал во рту кирпичного чудища, где почему-то была устроена печь. Но тяжелее любого кошмара был момент, когда я просыпался и ощущал новый центр своей личности, стальную сердцевину, которая не имела со мной ничего общего и в то же время была моей сутью. Так я воспринимал сознание языка, вошедшее с моим умом в симбиоз.

Когда у меня выросли два выпавших клыка (они были такими же, как старые, только чуть белее), кошмары прекратились. Вернее сказать, я просто перестал воспринимать их как кошмары и смирился с тем, что вижу такие сны: нечто похожее мне пришлось проделать, когда я пошел в школу. Моя душа приходила в себя, как оживает оккупированный город или начинают шевелиться пальцы онемевшей руки. Но у меня было чувство, что день и ночь за мной наблюдает невидимая телекамера. Она была установлена у меня внутри, и одна моя часть следила через нее за другой.

Я съездил домой за вещами. Комната, где прошло мое детство, показалась мне маленькой и темной. Сфинкс в коридоре выглядел китчеватой карикатурой. Мать, увидев меня, почему-то растерялась, пожала плечами и ушла к себе. Я не ощущал никакой связи с местом, где прожил столько лет – все здесь было чужим. Быстро собрав нужные вещи, я бросил в сумку свой ноутбук и поехал назад.

После уроков Бальдра и Иеговы у меня оставалось время – и я стал понемногу исследовать свое новое жилище. Жидкая библиотека в кабинете Браммы с самого начала вызывала у меня любопытство. Я догадывался, что к ней должен существовать каталог; вскоре я нашел его в ящике секретера. Это был альбом в обложке из странной кожи, похожей на змеиную. Он был заполнен от руки; каждому ящику картотеки соответствовала пара страниц, содержащих замечания и короткие комментарии к номерам пробирок.

В каталоге были разделы, которые забавным образом напоминали программу видеосалона. Самым большим оказался эротический – он был разделен на эпохи, страны и жанры. Имена действующих лиц впечатляли: во французском блоке фигурировали Жиль де Рец, мадам де Монтеспан, Генрих IV Бурбон и Жан Марэ (было непонятно, каким образом удалось сохранить красную жидкость всех этих людей, пусть даже в микроскопических дозах).

В военном разделе каталога присутствовали Наполеон, один из поздних сегунов династии Токугава, маршал Жуков и различные селебрити времен второй мировой, в том числе воздушные асы Покрышкин, Адольф Галланд и Ганс Ульрих Рудель. Некоторые из этих лиц были представлены и в эротическом разделе, но я решил, что это однофамильцы или вообще какой-то условный шифр, увидев такую позицию: *«Ахтинг Покрышкин. Российское гей-комьюнити сороковых годов двадцатого века»*.

Военный и эротический разделы вызвали у меня жгучий интерес – и, как всегда бывает в жизни, вслед за этим последовало такое же жгучее разочарование. Эротическая и военная часть картотеки были где-то в другом месте: ящики оказались пусты. Пробирки с препаратами оставались только в трех разделах – «мастера-масочники», «пренатальные переживания» и «литература».

Никакого интереса к изготовителям масок, которые собирал покойный Брами (его коллекция висела на стенах), я не испытывал. К разделу «литература» тоже – там было множество имен из школьной программы, но я еще помнил тошноту, которую они вызывали на уроках. «Пренатальные переживания» вызвали у меня куда больше любопытства.

Как я понимал, речь шла об опыте человеческого плода в утробе. Я даже представить себе не мог, на что это похоже. Наверно, думал я, какие-то всполохи света, приглушенные звуки из окружающего мира, рокот материнского кишечника, давление на тело – словом, что-то неописуемое, эдакое парение в невесомости, скрещенное с американскими горками.

Решившись, я набрал в пипетку несколько капель из пробирки с названием «Italy-()», уронил их в рот и сел на диван.

Своей бессвязностью и нелогичностью переживание было похоже на сон. Вроде бы я возвращался из Италии, где не успел доделать работу, которой от меня ждали – что-то связанное с резьбой по камню. Мне было грустно, поскольку там осталось много милых сердцу вещей. Я видел их тени – беседки среди винограда, крохотные кареты (это были детские игрушки, воспоминание о которых сохранилось особенно отчетливо), веревочные качели в саду...

Но я был уже в другом месте, похожем на московский вокзал – вроде бы я сошел с поезда, нырнул в малоприметную дверь и попал в специализированное здание наподобие научного института. Его как раз переоборудовали – двигали мебель, снимали старый паркет. Я решил, что надо выбраться на улицу, и пошел куда-то по длинному коридору. Сначала он улиткой заворачивался в одну сторону, а потом, после круглой комнаты, стал разворачиваться в другую...

После долгих блужданий по этому коридору я увидел в стене окно, выглянул в него и понял, что ничуть не приблизился к выходу на улицу, а только отдалился от него, поднявшись на несколько этажей над землей. Я решил спросить кого-нибудь, где выход. Но людей вокруг, как назло, не было видно. Я не хотел идти назад по коридору-улитке и стал по очереди открывать все двери, пытаясь кого-нибудь найти.

За одной из дверей оказался кинозал. В нем шла уборка – мыли пол. Я спросил у работавших, как выбраться на улицу.

– Да вон, – сказала мне какая-то баба в синем халате, – прямо по желобу давай. Мы так ездим.

Она указала мне на отверстие в полу – от него вниз шла зеленая пластмассовая шахта, вроде тех, что устраивают в аквапарках. Такая система транспортировки показалась мне современной и прогрессивной. Меня останавливала только боязнь, что куртка может застрять в трубе: проход казался слишком узким. С другой стороны, баба, которая посоветовала мне воспользоваться этим маршрутом, была довольно толстой.

– А вы сами так же спускаетесь? – спросил я.

– А то, – сказала баба, наклонилась к трубе и вылила в него из таза, который был у нее в руках, грязную воду с какими-то перьями. Меня это не удивило, я только подумал, что теперь мне придется ждать, пока труба высохнет...

Здесь переживание кончилось.

К этому дню я уже проглотил достаточно дискурса, чтобы распознать символику сновидения. Я даже догадался, что могут означать метки на пробирках. Видимо, если опыт «Italy-()» кончался ничем, стоявший рядом «France-()» завершался прыжком лирического героя в шахту. Но я не стал проверять эту догадку: по своему эмоциональному спектру пренатальный опыт был малопривлекателен и напоминал гриппозное видение.

После этого случая я вспомнил известное сравнение: тело внутри материнской утробы похоже на машину, в которую садится готовая к поездке душа. Вот только когда она туда залезает – когда машину начинают строить или когда машина уже готова? Такая постановка вопроса, разделявшая сторонников и противников аборта на два непримиримых лагеря, была, как оказалось, необязательна. В проглоченном мною дискурсе были представлены и более интересные взгляды на этот счет. Среди них был, например, такой: душа вообще никуда не залезает, и жизнь тела похожа на путешествие радиоуправляемого дрона. Существовал и более радикальный подход: это даже не путешествие дрона, а просто трехмерный фильм о таком

путешествии, каким-то образом наведенный в неподвижном зеркале, которое и есть душа... Как ни странно, эта точка зрения казалась мне самой правдоподобной – наверно, потому, что в моем зеркале к этому времени отразилось очень много чужих фильмов, а само оно никуда не сдвинулось – а значит, действительно было неподвижным. Но что это за зеркало? Где оно находится? Тут я понял, что снова думаю про душу, и у меня испортилось настроение.

Через пару дней в одном из ящиков картотеки нашлась приبلудная пробирка. В ней было меньше жидкости, чем в остальных. Ее индекс не совпадал с индексом ящика; я проверил его по каталогу и увидел, что препарат называется «Rudel ZOO». Из записей следовало, что речь идет о германском летчике Гансе Ульрихе Руделе. Препарат относился не к военному разделу, а к эротическому. Это была единственная сохранившаяся пробирка оттуда.

Дегустация последовала незамедлительно.

Ничего связанного с боевыми действиями я не увидел – если не считать смазанных воспоминаний об одном рождественском полете над Сталинградом. Никаких всемирно известных злодеев тоже не было. Материал оказался сугубо бытовым – Ганс Ульрих Рудель был запечатлен во время своего последнего визита в Берлин. В черном кожаном пальто, с каким-то невероятным орденом на шее, он снисходительно совокуплялся с бледной от счастья старшеклассницей возле станции метро «Зoo» – почти не таясь, на открытом воздухе. Кроме эротической программы, в препарате осталось воспоминание об огромном бетонном зиккурате с площадками для зенитной артиллерии. Это сооружение выглядело так нереально, что у меня возникли сомнения в достоверности происходящего. В остальном все походило на стильный порнофильм.

Должен признать, что я посмотрел его не раз и не два. У Руделя было лицо интеллигентного слесаря, а школьница напоминала рисунок с рекламы маргарина. Как я понял, интимные встречи незнакомых людей возле станции «Зoo» стали традицией в Берлине незадолго до его падения. Радости в последних арийских совокуплениях было мало – сказывалась нехватка витаминов. Меня поразило, что в промежутках между боевыми вылетами Рудель метал диск на аэродроме, как какой-нибудь греческий атлет. Я совсем иначе представлял себе то время.

Еще через несколько дней я все-таки попробовал препарат из литературного раздела. Покойный Брама был большим ценителем Набокова – это подтверждали портреты на стене. В его библиотеке было не меньше тридцати препаратов, так или иначе связанных с писателем. Среди них были и такие странные пробирки, как, например, «Пастернак + 1/2 Nabokov». Было непонятно, что здесь имеется в виду. То ли речь шла о неизвестной главе из личной жизни титанов, то ли это была попытка смешать их дарования в алхимической реторте в определенной пропорции.

Этот препарат мне и захотелось попробовать. Но меня ждало разочарование. Никаких видений после дегустации меня не посетило. Сначала я решил, что в пробирке просто вода. Но через несколько минут у меня начала чесаться кожа между пальцами, а потом захотелось писать стихи. Я взял ручку и блокнот. Но желание, к сожалению, не означало, что у меня открылся поэтический дар: строчки лезли друг на друга, но не желали отливаться во что-то законченное и цельное.

Исчеркав полблокнота, я родил следующее:

За калину твою,
За твой пиленный тендер с откатом,
За твой снег голубой,
За мигалок твоих купола...

После этого вдохновение наткнулось на непреодолимый барьер. Вступление подразумевало какое-то ответное «я тебе...» А с этим было непросто. Действительно, думал я, пытаюсь

взглянуть на ситуацию глазами постороннего – что, собственно, «я тебе» за пиленный тендер с откатом? Приходило в голову много достойных ответов на народном языке, но в стихах они были неуместны.

Я решил, что поэтический эксперимент на этом закончен и встал с дивана. Вдруг у меня возникло ощущение какой-то назревающей в груди счастливой волны, которая должна была вот-вот вырваться наружу и обдать сверкающей пеной все человечество. Я глубоко вздохнул и позволил ей выплеснуться наружу. После этого моя рука записала:

My sister, do you still recall
The blue Hasan and Khalkhin-Gol?

И это было все. Напоследок только хлопнуло в голове какое-то бредовое трехступенчатое восклицание вроде «хлобысь хламида хакамада», и лампа музыки угасла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.